



ISSN 2227-4413

ВЕЛИКОРОССЪ

Литературно-исторический журнал

№4(46) 2022

Главный редактор –
И.Ю. ГОЛУБНИЧИЙ

Шеф-редактор –
С.Г. ЗАМЛЕЛОВА

Зав. редакцией –
Г.В. МАМОНТОВА
galina-mamontova@mail.ru

Ответственный секретарь –
В.И. РУСАКОВ
pechat-vr@yandex.ru

Художник-верстальщик –
Р.А. ВОДЕНИНА

Редактор-корректор –
Н.Б. АЛЕКСЕЕВ

Редакция:
ООО «Издательский дом
ВЕЛИКОРОССЪ»
141730, Московская область,
г. Лобня, ул. Крупской,
д. 16, кв. 111

Рукописи и отзывы
принимаются по e-mail:
pechat-vr@yandex.ru

Электронная версия:
www.velykoross.ru

В номере:

Слово главного редактора3

А ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА
Рождество в русской литературе.....4

П ОЭЗИЯ

Магомед АХМЕДОВ
Меня вдохновляла родная страна.....15

Инна ВАРВАРИЦА
Тропинки памяти.....96

Пётр ГУЛДЕДАВА
Нам дано совершенствовать мир!.....105

Галина РОМАНОВА
Летят до земли снегопады.....109

Виктор КАШКИН
Я хочу, чтоб ты слушала ночь.....118

Тамара ПОТЁМКИНА
Воспоминания любви.....128

Валерий БОКАРЁВ
Россию победить нельзя!.....133

Инна МУХИНА
Секрет непреходящих истин.....158

Юрий БОГДАНОВ
На полях, изорванных войной.....162

Василий ЛОВЧИКОВ
Верим, солнце добра взойдёт.....168

Марина ЗАЙЦЕВА (ГОЛЬБЕРГ)
Счастливая девочка-эхо.....171

Сергей ГАЗИН
Глагол откровенья.....178

Элла КУЗНЕЦОВА
В поэзию, как в храм!.....181

Некоммерческое издание
Литературно-исторический
журнал **ВЕЛИКОРОССЪ**
№4(46) 2022

Выходит четыре раза в год
Распространяется бесплатно

16+

Журнал зарегистрирован
в Федеральной службе
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
06.07.10.

Свидетельство о регистрации:
ПИ №ФС77-40753.

Учредитель и издатель:

С.Г. Макеева

141301, Московская область,
г. Сергиев Посад, а/я 16.

Подписано в печать 31.12.22.

Формат 70x108/16.

Усл. печ. л. 16,8.

Тираж 1000 экз.

Заказ I-5471

Отпечатано
в цифровой типографии
«Буки Веди» на оборудовании
KonicaMinolta

ООО «Ваш полиграфический
партнер», 127238, г. Москва,
Ильменский пр-д, д. 1, корп. 6.

Тел.: (495) 926-63-96,

www.bukivedi.com,

info@bukivedi.com

ПРОЗА

<i>Владимир АЛЕЙНИКОВ</i> Только речь.....	20
<i>Анна МАЯКОВА</i> Плащ-палатка.....	130
<i>Юлия АЛЕКСАНДРОВА</i> Символ года.....	160
<i>Сергей БАГРОВ</i> Смуты и удивы.....	183

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

<i>Василий ПОЛЯКОВ</i> Золотоканительный фабрикант поклонялся таланту балерины и врача.....	99
<i>Евгения ПОЛЯКОВА</i> Россия – страна героев.....	113
<i>Николай КАРТАШОВ</i> «Не много было у нас таких самоотверженных деятелей...».....	121

ДРАМА

<i>Светлана ЗАМЛЕЛОВА</i> Квартира № 13.....	138
---	-----



Слово главного редактора

**Уважаемый читатель,
дорогой соотечественник!**



Грядущий год обещает продолжение тех необратимых глобальных изменений, которые начались в году уходящем. Специальная военная операция вскрыла нарыв, уже давно образовавшийся на стыке двух миров – Русского и Западного; обличила ложь и лицемерие навязанных России идеологических концептов; запустила естественные механизмы разрешения вечных онтологических противоречий. К сожалению, непосредственной точкой неизбежного конфликта стала Украина – территория, которую большинство русских людей издавна привыкло считать органичной и неотторжимой частью Русского мира, и эта уверенность основывалась на прочном и нерушимом, как казалось, фундаменте исторического опыта. Но исторический опыт оказался не универсален, и сегодня мы исходим из объективной реальности. Увы, находятся те, кто пытается использовать драму истории в мелких политиканских целях, сводя застарелые счёты и утоляя неизжитые комплексы. Но так было во все времена, и следует относиться к этому с пониманием. Один из главных смыслов происходящего – это окончательное осознание неизбежности разрыва с так называемым «цивилизованным миром» и необходимости создания полноценного Русского (не в узконационалистическом, а в высоком духовном смысле) многонационального цивилизационного пространства – идеологически обоснованного, экономически и духовно самодостаточного, готового к внешним вызовам. Советский Союз, столетие которого мы отмечаем 30 декабря уходящего года, является полноценным прообразом такого пространства.

Перед отечественной литературой стоит задача полномасштабного возвращения к фундаментальным принципам русской, российской классической традиции. Жизнь показывает, что выполнение этой задачи напрямую связано с достижением целей Специальной военной операции.

С Новым годом!

Иван ГОЛУБНИЧИЙ

Кандидат филологических наук

Заслуженный работник культуры Российской Федерации

Заслуженный работник культуры Чеченской Республики

Заслуженный работник культуры Республики Дагестан

Заслуженный работник культуры Республики Ингушетия

Мнение редакции необязательно совпадает с мнением автора. Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты. Редакция в переписку не вступает. Рукописи не рецензируются. Принятые рукописи могут быть отредактированы. Любое воспроизведение материалов или их фрагментов на любом языке возможно только с письменного разрешения правообладателя.

© Литературно-исторический журнал «Великороссъ», 2022

© Авторы, 2022

Рождество в русской литературе

Чудо Рождества с Лесковым

Святочный рассказ – незамысловатый или изобретательный, трогательно-сентиментальный или немного насмешливый, но всегда очень добрый – после долгих десятилетий незаслуженно забытого забвения возвратился к отечественному читателю.

Поучительные и «размягчающие сердца» святочные истории всегда пользовались неизменной популярностью у самых широких слоёв читающей публики и в России, и за рубежом. В позапрошлом столетии к Рождеству издавались особые литературные сборники. Во всех газетах и журналах помещалось множество святочных материалов: сообщения о ёлках и маскарадах, объявления о выставках и продажах праздничных товаров, этнографические заметки о Святках, стихотворения и рисунки на рождественскую тему и непременно рождественские рассказы. Правда, святочная словесность того времени из года в год повторяла набор давно разработанных тем. Немецкий писатель Карл Грюнберг, перебрав немало таких изданий, в заметках **«Кое-что о святочном рассказе»** указал на однообразие святочных сюжетов. Все они завершаются счастливым концом («как-никак Сочельник!»), «в финале какой-нибудь благотворитель достаёт толстенный бумажник. Все расстроганы, все поют песню в честь Сил Небесных!»

Заслуга возрождения жанра в русской литературе во многом принадлежит Николаю Семёновичу Лескову (1831–1895). В 1888 году в письме к редактору ежедневной газеты «Новое время» А.С. Суворину Лесков замечал: «Форма рождественского рассказа сильно поизносилась. Она была возведена в перл в Англии Диккенсом. У нас не было хороших рождественских рассказов с Гоголя до “Зап. <печатленного> Ангела”». Своим «рождественским рассказом» **«Запечатленный Ангел»**, собственным святочным творчеством

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА



Алла Анатольевна Новикова-Строганова – доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей России (Москва), историк литературы. Живёт в Орле.



Лесков доказал жизнённость, казалось бы, отработавшего своё жанра, выявил его подспудные возможности, способность к саморазвитию.

В рассказе **«Жемчужное ожерелье»** писатель выступил как теоретик жанра, сформулировал его определение, указал на главные признаки и особенности: «От святочного рассказа непременно требуется, чтобы он был приурочен к событиям святочного вечера – от Рождества до Крещенья, чтобы он был сколько-нибудь фантастичен, имел какую-нибудь мораль, хоть вроде опровержения вредного предрассудка, и наконец – чтобы он оканчивался непременно весело». Лесков выразил убеждение, что строгие каноны не мешают развитию жанра. Наоборот – стимулируют творческую фантазию автора: «И святочный рассказ, находясь во всех его рамках, всё-таки может видоизменяться и представлять любопытное разнообразие, отражая в себе и своё время, и нравы».

Жанр этот с его смысловой объёмностью и религиозно-философским универсализмом содержит также громадные возможности для нравственного воспитания, формирования личности, становления человека. Некоторые свои святочные рассказы писатель прямо предназначал детям. **«Неразменный рубль»**, **«Зверь»**, **«Привидение в Инженерном замке»**, **«Пугало»**, в которых повествование ведётся от лица рассказчика-ребёнка и события преломляются через призму детского сознания, по-настоящему заинтересуют и увлекут юного читателя. А самое главное – дадут «какое-нибудь доброе направление его мыслям», как надеялся Лесков. Этот ряд могут продолжить озорные и курьёзные, и при этом очень мудрые рассказы **«Дух госпожи Жанлис»**, **«Жемчужное ожерелье»**, **«Штопальщик»**, **«Грабёж»**, **«Путешествие с нигилистом»**.

Рождество Христово – величайший христианский праздник, «матерь всех праздников», по определению Григория Богослова, – и есть символическо-содержательное начало святочного рассказа, уходящего корнями в Священное Писание. «Рождество Христово есть непререкаемое свидетельство милосердия Божия к человеку! – восклицал в 1834 году безымянный автор в журнале “Христианское чтение”. – Явился Освободитель от бедствий, пришёл Путеводитель к заблудшим, Врач к немощным, Искупитель к пленникам, Податель прощения к осуждённым, Жизнодавец к умершим!» Здесь выражена самая сердцевина рождественской идеологии: идеи спасения, освобождения человечества, преодоление смерти и пафос утверждения жизни.

Важную роль в святочном повествовании играет тема семьи. Естественно, что в праздник, установленный в честь рождения Младенца Иисуса, приводятся рождественские цитаты о Святом Семействе Евангелий от Матфея и от Луки. Евангельский рассказ звучит очень тепло, человечно. Особенно трогателен образ Богородицы, в котором подчёркнуто любящее материнское начало: *«И родила Сына Своего, первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли»* (Лк. 2:7). Когда же пастухи *«рассказали о том, что было возведено им о Младенце Сем. И все слышавшие дивились тому»*, *«Мария сохраняла все слова сии в сердце Своём»* (Лк. 2:17–19).

Преисполненные любви женские сердца показал и Лесков в своих святочных рассказах. Это, например, добрая и мудрая бабушка маленького героя рассказа **«Неразменный рубль»**; «живое привидение» Инженерного замка – болезненная жена почившего генерала Ламновского, простившая малолетнего кадета-шалуна у гроба своего мужа (**«Привидение в инженерном замке»**);

нежная и заботливая «матушка» автобиографического героя-ребёнка в рассказе «**Зверь**».

Темой семьи и её прообраза – евангельского Святого Семейства – обусловлен комплекс наиболее устойчивых мотивов святочного рассказа: любовное единение близких людей, семейный уют, тепло домашнего очага. В одной из своих статей Лесков вскользь обронил: «Всё это было так тепло, радостно, семейно», – и для писателя эти понятия одного смыслового ряда.

Сам идеал уюта в лучших святочных рассказах представлен не только в сентиментально-умилительном духе. Например, у Чарлза Диккенса (1812–1870) – защитника и певца Рождества – в этом идеале слышна «вызывающая, почти воинственная нота: он связан с защитой: дом осадили град и снег, пир идёт в крепости». Знаком диккенсовского творчества, писатель Г.К. Честертон замечал: «Дом как снабжённое всем необходимым и укреплённое убежище... Ощущение это особенно сильно в ненастную зимнюю ночь... Отсюда следует, что уют – отвлечённое понятие, принцип».

«Ох, помилуй нас, Господи, мы так уютно уселись в кружок у огня», – говорит Диккенс, обращаясь к своим читателям и героям. Неповторимую атмосферу доверительной беседы автора с семьёй его читателей, устроившихся в ненастный вечер у камелька, замечательно умеет создавать и Лесков. Своеобразные «святочные обстоятельства» (время и место действия) обуславливают атмосферу рождественского сплочения, обстановку беседы – нередко полемической, которая становится отправной точкой и пружиной, развёртывающей повествование у русского классика жанра.

Такова, к примеру, прамбула не переиздававшегося со времени первой публикации лесковского рассказа «**Уха без рыбы**»: «Новый 1886 год начался для меня в приятном обществе довольно приятными отзывами о вышедшем на днях томике моих святочных рассказов. Книжечку похвалили в печати и о ней же с удовольствием говорили в том хлебосольном доме, куда я был позван выпить новогодний бокал шампанского».

Примерно та же вводная сцена представлена в святочных рассказах «**На краю света**», «**Белый орёл**», «**Под Рождество обидели**», «**Христос в гостях у мужика**», «**Обман**», в очерке «**Пресыщение знатностью**» и других произведениях. Почти во всех святочных и «рассказах кстати» подобный зачин определяет ситуацию разговора, полемики, спора, который разрешается на конкретном примере, становящемся основным сюжетом и своеобразным «нравственным уроком» произведения.

Ситуация тесного общения (иногда вынужденного, невольного, «тесного» в прямом смысле) представлена в рассказах «**Путешествие с нигилистом**» (первоначальное заглавие – «**Рождественская ночь в вагоне**»), «**Отборное зерно**», «**Запечатленный Ангел**».

Именно «**Запечатленный Ангел**», который «нравился и царю, и пономарю», положил начало специфически рождественской прозе Лескова. Своё творение автор снабдил подзаголовком «*рождественский рассказ*», хотя по объёму это скорее повесть: «Дело было о Святках, накануне Васильева вечера... Жесточайшая поземная пурга <...> загнала множество людей в одинокий постоялый двор, стоящий бобылём среди гладкой и необозримой степи. Тут очутились в одной куче дворяне, купцы и крестьяне, русские и мордва, и чуваша».

Так, с одной стороны, достигается эффект «уюта запертой рождественской комнатки», воспетого ещё Диккенсом, а с другой – что неизмеримо

важнее – Лесков получает уникальную возможность собрать воедино как бы всю Русь, все сословия и нации, соединить людей в не формально-казённом, а в человеческом общении: «Соблюдать чины и ранги на таком ночлеге было невозможно».

Это соответствует и демократической идее равенства, заложенной в Рождестве, в котором как бы сравнялись, сделались соизмеримыми Небесное и земное, Божественное и человеческое. Согласно этой идее, нет ничего парадоксального в том, что «Царь Небесный», «Спаситель мира» рождается в обстановке самой непритязательной – в хлеве, окружённый домашними животными, которые своим дыханием согревают Божественного Младенца в холодную ночь. Эту гармонию вселенского, космического и земного, обыденного поэтически передал Борис Пастернак в стихотворении «**Рождественская звезда**»:

*Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,
Как месяца луч в углубленье дупла,
Ему заменяли овчинную шубу
Ослиные губы и ноздри вола.*

Божественный Младенец, путеводная звезда, которая сопутствует идущим поклониться Христу волхвам, их дары – все эти рождественские символы были усвоены святочной литературой. История возникновения и развития жанра вписывается во всемирный литературный контекст, и мы можем представить рассказы Лескова на широком фоне святочной прозы.

Классические образцы жанра – например, «**Щелкунчик и мышинный король**» Э.-Т. Гофмана, «**Девочка со спичками**» Х.-К. Андерсена. В основе рассказа О. Генри «**Дары волхвов**» – рождественская идея взаимного бескорыстного дарения. Трогательная интонация рассказа о том, как втайне друг от друга муж продал часы, чтобы подарить гребни для роскошных волос жене, а она отрезала и продала волосы, чтобы купить цепочку для его часов, очень характерна для рождественского повествования.

В святочном рассказе «**Привидение в Инженерном замке**» Лесков ведёт с героями и читателями своеобразную игру. Название отсылает к традиции рождественского повествования в западной литературе с непременно включением в действие потусторонних сил, духов и т.п. Есть также отсылка к Г. Гейне – к описанному им в «**Книге Легран**» «заброшенному замку, где живут духи и где по ночам бродит дама». Однако все эти «готические ужасы» – только игровой приём, за которым скрывается оригинальный, нетрадиционный сюжетный ход.

Необычность его в том, что «**Привидение в Инженерном замке**» – «рассказ с привидениями без привидений», но читатель не догадывается об этом до последней страницы. Канадский литературовед Кеннет Лантц не без основания назвал «**Привидение в Инженерном замке**» одним из лучших рождественских рассказов мировой литературы, даже образцом жанра.

Лесков умело мистифицирует читателя, рассказывая о «таинственных явлениях, приписываемых духам и привидениям» Павловского дворца, и в то же время скрываясь за неопределённо-личным «говорили»: «Говорили что-то такое страшное и вдобавок ещё сбывающееся». Таким образом, автор предоставляет читателям полную свободу: доверять или сомневаться.

Тот самый «серый человек», о котором рассказывает священник мальчишам, радующимся кончине нелюбимого начальника, – не что иное, как *совесть*

(выделено Лесковым. – А. Н.-С.). Пусть генерал Ламновский «держал себя с детьми сурово и безучастливо; мало вникал в их нужды; не заботился об их содержании, а главное – был докучлив, придирчив и мелочно суров», – смысл рассказа в том, чтобы простить и хотя бы у гроба «не выкидывать» кощунственных «номеров». Слова священника-«бати» звучат предупреждением о необходимости разорвать порочный круг злорадства и встречного насилия: «Этот серый человек – *совесть*: советую вам не тревожить его дрянной радостью о чужой смерти. Всякого человека кто-нибудь любит, кто-нибудь жалеет – смотрите, чтобы серый человек им <привидением – А. Н.-С.> не скинулся и не дал бы вам тяжёлого урока».

Примечательно, что многие истории в рассказах Лескова повествуются в сумерки, когда постепенно сгущается тьма, но ещё не зажигают свечей. Окажется, это время суток избирается неслучайно: «Этот *серый человек* – он не в полночь встаёт, а в сумерки, когда серо делается, и каждому хочется сказать о том, что в мыслях есть нехорошего».

Так, не только сюжетами своих рассказов, но и самой атмосферой, которая нередко становится важнее сюжета, писатель взывает к пробуждению нравственности, совести. Это пограничное состояние – сумерки – обостряет все чувства и душевные движения человека: «Известно, что в сумерках обнаруживается какая-то особенная чувствительность – возникает новый мир, затмевающий тот, который был при свете: хорошо знакомые предметы обычных форм становятся чем-то прихотливым, непонятным, и, наконец, даже страшным <...> и в этой стремительной и густой дисгармонии всего внутреннего мира человека начинает свою работу фантазия: мир обращается в сон, а сон в мир... Это заманчиво и страшно, и чем более страшно, тем более заманчиво и завлекательно».

Здесь обнаружены не только постоянные нравственные устремления писателя пробудить в человеке человеческое, но и приподнята завеса над одним из секретов его поэтики – указана почти неразличимая грань взаимопроницаемости сна и яви, мира грезящегося и мира реального.

«Привидение» названного рассказа – «измождённая фигура вся в белом» – вырисовывается как раз на стыке этой грани. Сходство «измождённой фигуры» с «серым человеком» – совестью («в тени она казалась серою») – окончательно проясняет смысл произведения. Только оно, это живое «привидение» – полумёртвая жена почившего Ламновского, из последних сил пришедшая попрощаться с телом мужа, – имеет право простить кощунственную и неуместную выходку у гроба одного из кадетов. Сам покойник как бы мстит за себя: гробовой покров зацепился за шалуна и будто крепко схватил за руку мальчишку-оскорбителя. Но любящее женское сердце простило и благословило обезумевшего от ужаса мальчика, который уже сам достаточно наказал себя за «отчаянную шалость».

«Мораль» и «урок», о которых предупреждал детей их любимый «батьа»-священник, в рассказе ясны и ненавязчивы. Здесь нет готовых педагогических рецептов, но вызывается побуждение к деятельной работе мысли и чувства. Дети, направляемые самим развитием жизни, делают собственные правильные выводы. К тому же надолго, если не навсегда, из их жизни исчезают все страхи, всё жуткое и потустороннее.

У Лескова нередко почти буквально реализованы главные мотивы святочного рассказа: чудо, спасение, дар. Например, в счастливом финале рассказа «**Зверь**», когда на сцену вступает высший Промысел, находим эти устойчивые

аксиомы: «**рок** <выделено мной – А. Н.-С.> удивительно покровительствовал Станарелю и, раз вмешавшись в дело зверя, как будто хотел спасти его во что бы то ни стало»; священник «заговорил о **даре** <выделено Лесковым – А. Н.-С.>, который и нынче, как и “во время оно”, всякий бедняк может поднести к яслям “Рожденного Отроча”, смелее и достойнее, чем поднесли золото, смирену и ливан волхвы древности. Дар – наше сердце, исправленное по Его учению».

Характерное праздничное рождественское переживание – это состояние радостной умиленности. Связано оно прежде всего с образом Младенца Иисуса. Неслучайно поэтому образ ребёнка – нередко в центре святочного рассказа. «Ведь так отрадно порой снова стать хоть на время детьми! А особенно хорошо это на Святках, когда мы празднуем рождение Божественного Младенца!» – восклицал Диккенс.

В цикле своих святочных рассказов, где действуют герои-дети, Лесков продемонстрировал великолепное знание потребностей детской читательской аудитории, особенностей и оттенков детской психологии, живую поэтическую фантазию. Опираясь на тягу детей к вымыслу (и учитывая специфику жанра), писатель вводит в свои рассказы мотив чудесного. И хотя, как подчёркивал Лесков в предисловии к сборнику «**Святочные рассказы**»: «причудливое и загадочное имеет свои основания не сверхъестественном и сверхчувственном, а истекает из свойств русского духа и тех общественных веяний, в которых <...> заключается значительная доля странного и удивительного», – всё же некоторые из рассказов, по признанию самого автора, «имеют элемент чудесного в смысле сверхчувственного и таинственного». «На то Святки!» – с улыбкой восклицал писатель в рассказе «**Уха без рыбы**».

Лесков своеобразно обыгрывает традицию «страшной» рождественской повести. И «**Неразменному рублю**», и «**Зверю**», и «**Привидению в Инженерном замке**» он мог предпослать эпиграф из рассказа «**Пугало**»: «У страха большие глаза».

В «**Пугале**» это простонародный фольклорный мир леших, водяных, кикимор – мир народной былички и сказки. И этот «ребячий мир тех сказочных существ», «полный таинственной прелести», несказанно дорог писателю. Так пересекаются мир фольклорный и мир детский, ведь, с точки зрения Лескова, «в младенческой наивности есть оригинальность и пронизательность народного ума и чуткость чувства».

Лесков опирается на интересную особенность детской психологии – своеобразную тягу к страшному. В «**Неразменном рубле**», например, детское сознание «напитывается» предсвяточными ужасами: чтобы добыть волшебное сокровище, «нужно претерпеть большие страхи».

Из того же источника – увлечение современных детей «ужастиками», отсюда – и многочисленные «страшилки» в устном детском творчестве, которые до сих пор придумывают и пересказывают друг другу сами дети. Возможно, именно таким образом человек, вступающий в мир, стремится освободиться от подсознательных инстинктивных страхов – подавить древнейшую в своем происхождении боязнь темноты, страх неведомого. И, возможно, игра в страшное помогает преодолевать ребёнку реальные страхи.

В «**Неразменном рубле**» Лесков как будто рассказывает детскую страшилку со всеми её атрибутами: полночь, чёрная кошка, перекрёсток четырёх дорог, кладбище и т.п. Впрочем, мудрый автор спешит тут же успокоить чересчур впечатлительного читателя: «Конечно, это поверье пустое и

недостаточное; но есть простые люди, которые склонны верить, что неразменные рубли действительно можно добывать. Когда я был маленьким мальчиком, и я тоже этому верил». Так Лесков предлагает героям и читателям включиться в игру на равных с самим автором, и кажется, что эта игра доставляет ему истинное удовольствие.

Писатель увлекает читателя, сочиняя сюжеты-головоломки, и оказывается, что рассказ с грабежом – без грабежа, о пугале – без пугала, но даже искушённому читателю это неизвестно до самого конца повествования, настолько мастерски и интригуяще строит писатель свои истории.

Попробуем поиграть вместе с автором и его героями. Например, в **«Неразменном рубле»** основное действие разворачивается во сне героя-ребёнка под Рождество. Однако даже опытный читатель поначалу даже и не подозревает об этом (литературный приём «необъявленного сна»), настолько прозрачна и призрачна граница между сном и явью, мечтой и реальностью.

Почему же рубль оставался неразменным? Какие тут возможны объяснения? Какие силы действуют – сверхъестественные или естественные? Можно, например, представить, что на ярмарке после каждой правильно сделанной покупки «не для себя» умница-бабушка потихоньку опускала в карман внука новый рубль – свой рождественский подарок, так что мальчик мог всякий раз убедиться, что его «неразменный рубль целёхонек». Но от такого предположения атмосфера святочного волшебства в лесковском рассказе не исчезает.

Детской возрастной психологии свойственна быстрая смена контрастных эмоциональных состояний – плача и смеха, страха и радости. Подобные психологические переживания мы найдём в самом построении святочного рассказа: от боязни – к радости и успокоению, от зла – к добру, от мрака – к свету. Такова логика развития сюжета, которая восходит к евангельскому рождественскому тексту: *«И сказал им Ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель»* (Лк. 2:10–11).

У Лескова благополучно исчезают все страхи от привидений: «То, которое мы видели, было последнее». В **«Пугале»** оказалось, что «пугало было не Селиван, а вы сами, – ваша к нему подозрительность, которая никому не позволяла видеть его добрую совесть. Лицо его казалось вам тёмным, потому что око ваше было темно <...> Так всегда зло родит другое зло и побеждается только добром, которое, по слову Евангелия, делает око и сердце наше чистыми».

Так своеобразная «рождественская проповедь», завершающая лесковские святочные рассказы, подводит итог урокам добра и правды, которые герои и читатели извлекают самостоятельно.

Своими святочными рассказами Лесков стремится установить духовное родство с читателем, пробудить «искру разума о смысле жизни». Лесковская святочная проза обращена к тем, «кто хочет совершен быть». Писатель всеми силами старался укрепить это стремление человека к совершенствованию, нравственному возрождению, духовным высотам.

«Такая прекрасная ночь под Рождество...»

(в преддверии 110-летия памяти Александра Павловича Чехова)

Александр Павлович Чехов (1855–1913) – старший брат Антона Павловича Чехова (1860–1904), русский писатель, публицист, выступавший под псевдонимом А. Седой. В наши дни его творчество мало кому известно, почти совсем забыто. Между тем классик русской литературы Антон Чехов свидетельствовал о незаурядном таланте своего старшего брата. В нынешний год 110-летия памяти Александра Чехова хорошо было бы извлечь его произведения из плена забвения.

Интересное и, безусловно, значительное явление русской святочной литературы – сборник А. Седого **«Святочные рассказы»**. Не случайно этот сборник выдержал несколько переизданий. При жизни автора его цикл его святочных рассказов издавался почти ежегодно: первое издание вышло в 1894 году, второе – в 1895, третье – в 1896, четвертое – в 1899. Современникам писателя очень понравились эти рассказы. Они были не только прекрасным подарком к Святкам, но и увлекательным, ненаскучивающим чтением круглый год. Небезосновательно святочные рассказы А. Седого были признаны «образцовыми в жанровом отношении»¹.

Произведения сборника, объединённые строгими правилами и канонами жанра, тем не менее чрезвычайно разнообразны и по тематике, и по тональности. Среди них есть весёлые, озорные и есть серьёзные; пародийные и традиционно рождественские, размягчающие сердца.

Рассказ **«Тришкина душа»** – пародия на рождественскую историю с привидениями. Вся округа перепугалась блуждающих огоньков в заброшенном доме, а старый дядюшка на всякий случай вооружился незаряженным ружьём.

Имя предполагаемого призрака – Тришка – отсылает к фольклорным источникам о знаменитом разбойнике. К этому популярному образу народных преданий обращался Н.С. Лесков (1831–1895). П.И. Якушкин (1822–1872) пересказал несколько легенд о Тришке в **«Путевых письмах из Орловской губернии»**.

У А. Седого нагнетанием таинственности, пародирующей средневековые «ужасы»: в старом доме даже нашлось нечто вроде орудия пытки – «какой-то забытый кухонный инструмент вроде щипцов»² – подкрепляются недоумения и простодушная готовность боязливых героев поверить в невероятное. Но в сочетании этих «страхов» с шутливой интонацией всезнающего автора (в отличие от серьёзно настроенного, недоумевающего по поводу всяких «странностей» рассказчика) возникает пародийно-снижающий эффект. Профанное несоответствие обнаруживается, когда, например, в заколоченном наглухо доме со светящимися по ночам окнами находят окурки: «Ба! Да Тришкина-то душа курит!» (19)

Как и положено в святочном жанре, развязка наступает в вечер Сочельника. Но от перепуганных героев потребовались решительные действия,

¹ Душечкина Е.В. Русский святочный рассказ: становление жанра. – СПб.: Санкт-Петербургский гос. университет, 1995. – С. 212.

² Седой А. (Чехов Александр Павлович). Святочные рассказы. – СПб., 1895. – С. 19. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием страниц.

чтобы, наконец, выяснить, что причиной всему не мистическое привидение. Напротив, переполох вызвал местный «просветитель», рационалист – учитель сельской школы, увлечённый идеей в качестве сюрприза устроить на рождественские праздники публичные чтения с «живыми картинами». Для этой цели он и пробирался в заброшенный дом, чтобы опробовать свой «волшебный фонарь».

Получает своё счастливое завершение и традиционная в святочном рассказе любовно-брачная и семейная тема. Лидочка, требовавшая от избранника совершить «какое-нибудь средневековое чудо храбрости», отдаёт ему руку и сердце, довольная тем, что её герой не побоялся раскрыть «жуткую тайну». Повествование завершается ко всеобщему удовольствию картиной весёлых Святок в духе всемирно признанного «певца Рождества» Чарльза Диккенса (1812–1870). Однако добродушно-насмешливый тон русского автора придаёт этой картине оттенок шутки, пародии, игры.

Святочные рассказы А. Седого не менее искромётны, остроумны, чем у его знаменитого брата. Антон Павлович Чехов с большим вниманием относился к этой стороне творчества Александра Павловича, редактировал его рассказы, подавал творческие советы. Иногда произведения братьев Чеховых печатались вместе на страницах одного и того же издания. Например, святочный рассказ А. Седого «**Сочельник в снежном заносе**» появился в 6045-м номере газеты «Новое время» 25 декабря 1892 года. Здесь же были опубликованы и произведения Антона Чехова. Неслучайно в сборнике А. Седого найдётся немало переключек со святочным творчеством его брата: кровное родство отражалось и на родственности литературных дарований.

Так, рассказ А. Седого «**Нарушитель закона**» очень близок «святочным вещичкам» Антона Чехова о забитом чиновнике («**Пережитое**», «**Либерал**», «**Восклицательный знак**» и многим другим).

Бедному, мелкому чиновнику, оставленному на дежурство в рождественскую ночь, потребовалось пройти через серьёзную внутреннюю борьбу, сделать выбор между службой канцелярской и службой церковной, рождественской. Сердечное чувство христианина, призывающее его в храм на праздничную литургию, берёт верх над долгом служащего. В рождественском обновлении и освобождении человеческой природы увидел писатель выход из состояния запертости – внешней и внутренней.

Герой рассказа А. Седого – лицо незначительное, мелкотравчатая «бумажная душонка» – ощутил в себе образ и подобие Божие, не «чернильную», а человеческую душу, которую необходимо восстановить, очистить от поругания, проявить свободную волю. Почувствовав себя «насиленно запертым в какую-то узкую, крепкую клетку» (32), герой решился «на неслыханную и канцелярски-революционную мысль, как то, что <...> дежурство в такую ночь было совершенно излишне» (26). С немалыми предосторожностями и уловками, не соответствующими его преклонному возрасту, оставляет чиновник канцелярию ради того, чтобы посетить рождественскую заутреню и послушать торжественный молебен по поводу «двенадцати язык».

Однако после своего христианского порыва бедный Евлампий Михайлович вновь ощутил себя винтиком бюрократического механизма – «нарушителем закона». Ему мерещатся выговор и увольнение.

На выручку приходит непремный святочный «счастливый конец». Начальник похвалил и даже наградил старика за то, что тот побывал на Рождество Христово в церкви. Но отрезвляющей поправкой «ликованию в

счастливой семье» героя выступает целый ряд «огорошивающих» вопросов: «Для чего я претерпевал все эти муки, волнения и тревоги? <...> Разве я не мог спокойно и без тревоги идти в церковь? <...> Но все эти вопросы так и остались без ответа» (45).

Грустная ирония такого финала не оставляет сомнений в том, что в рабски-механистическом государстве «зашоренному» жёсткой регламентацией человеку ещё слишком далеко до полной внутренней свободы – очень долго придётся «по капле выдавливать из себя раба».

И всё же в этом святочном рассказе А. Седого евангельская «сверх надежды надежда» сияет в благолепии и красоте торжественной церковной службы: «величественные ирмосы и радостный тропарь: “Рождество Твое Христе Боже наш” и умилительный, величественный рождественский канон» (31).

Это не может не напомнить эстетику словесной живописи Антона Чехова при описании пасхального богослужения в его рассказе-шедевре «**Святою ночью**». Почти полностью в рассказах братьев Чеховых совпадает общий тон пейзажных зарисовок, созвучных в своей музыкальности, эмоциональной приподнятости. Образы одухотворённой природы являются выразительной психологической параллелью духовному обновлению человека, которое мотивировано великими христианскими праздниками Рождества Христова и Светлого Христова Воскресения.

В святочном рассказе А. Седого «Ночь была чудная, ясная, звёздная, и ему <герою – А. Н.-С.> показалось, что это – первая такая прекрасная ночь под Рождество: других таких ночей он не помнил» (31–32).

У Антона Чехова читаем: «Мир освещался звёздами, которые вплотную усыпали всё небо. Не помню, когда в другое время я видел столько звёзд <...> Ради праздничного парада вышли они на небо все до одной, от мала до велика, умытые, обновлённые, радостные, и все до одной тихо шевелили своими лучами»¹.

Так, пересекаются рождественский и пасхальный рассказы, имеющие общую жанровую природу, в основе которой христианская этическая и эстетическая доминанта: спасение и искупление, восстановление и воскрешение. «Христос рождается прежде падший восставити образ» – одна из важнейших спасительных идей Рождества.

Пасхальная идея спасения от неминуемой смерти – в обстоятельствах святочного рассказа А. Седого «**Ночной трезвон**», которые сходны с теми, что описаны в рассказе Антона Чехова «**В рождественскую ночь**». Речь идёт о рыбаках, спасённых во время снежной бури и сильнейшего шторма на море.

В картине приморского города, занесённого снегом, узнаётся зимний Таганрог – родной город семьи Чеховых. Александр Павлович в своих заметках о старом Таганроге вспоминал случай из времён детства, послуживший фактической основой рассказа «**В рождественскую ночь**». Это произведение нехарактерно для творчества Антона Чехова прежде всего мелодраматичностью, что было отмечено уже современниками: «Мелодрама заканчивается, как и быть надлежит, катастрофой и метаморфозой: постылый муж добровольно идёт на смерть, а в сердце жены, поражённой его великодушием, ненависть внезапно уступает место любви»².

¹ Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. – Сочинения. – Т. 4. – М.: Наука, 1974–1988. – С. 166.

² Там же. – Т. 2. – С. 535.

Мелодрама в финале рассказа А. Седого «**Ночной трезвон**» завершается традиционно – рождественской идиллией. Отчаяние сменяется надеждой, горе – очистительными слезами радости, непогода – ярким солнечным светом. Всё это характерные знаки рождественской наполненности произведения: «Почти все поголовно плакали. И нельзя было не плакать: три дня не было света. А теперь яркое солнце, врываясь в окно с безоблачного неба, приветливо золотило иконы» (116). Последний мажорный аккорд святочного гимна – «радостный, захватывающий душу, весёлый трезвон в честь Рождества и Того, Кто внёс в мир свет и спасение» (117).



ПОЭЗИЯ

Магомед АХМЕДОВ

Магомед Ахмедович Ахмедов – известный российский дагестанский поэт, Председатель Правления Союза писателей Дагестана. Его поэзия следует в русле национальных традиций, которые развили и укрепили его великие земляки – поэты Гамзат Цадаса и Расул Гамзатов. Один из ведущих поэтов Дагестана, пишущих на родном аварском языке. Основные мотивы его стихов – любовь к родной земле, размышления над загадкой жизни, философское осмысление исторических судеб Дагестана и России...

Живёт в Махачкале.



Меня вдохновляла родная страна...

* * *

Мелькнула жизнь упавшею звездой,
Никто блаженство удержать не властен.
Незримой уходили чередой
Мгновения, оставленные счастьем.

Рассыпаны алмазною росой
Мои воспоминанья о любимой.
Увы, слова к мелодии простой
Утрачены теперь невозполнимо.

Пришли совсем иные времена,
Я многое принять смогу едва ли.
Со мной сейчас недуг и седина –
Они моими спутниками стали.

А в тех, навек ушедших временах
Любовь осталась юной, первозданной.
Но старая любовь обречена
Болезнь незаживающею раной...

2022

* * *

Свечой восковой я в руках твоих тлел,
Но время пришло, и достигнут предел.
И капли горячие слёз восковых
Застыли в ладонях раскрытых твоих.

1979

* * *

Никому, прошу, не сказывай о том,
Что с преданием старинным я знаком.
Будто в час, когда рождается Любовь,
Улыбается Земля. А после – вновь

Колыбель Любви идёт качать Весна,
Светом солнечным и радостью полна.
Только ты, любить навек пообещав,
Не забудь, что у Любви капризный нрав.

Свой последний день, подаренный судьбой,
Разделить мечтал когда-то я с тобой.
Но возлюбленная стала мне врагом,
Больше песен мы друг другу не поём.

Умерла Любовь, и свет её погас.
От наветов я Любовь свою не спас.
Осуждала благоденствие молва,
Не скупилась на жестокие слова...

Где-то снова ходит нежная Весна,
Светом солнечным и радостью полна.
Только я давно забыть хочу тебя,
Словно сердце всё изжалила змея...

1979

* * *

Лампада горела в далёком краю,
Замыслил вернуть я лампаду свою.

Меня вдохновляла родная страна,
И песнь о любви подарила она.

Любовь повстречал я в чужой стороне,
Чужая лампада светила и мне.

В душе Дагестан оставался родной,
Где был я любезен горянке одной.

Меня провожая, взмахнула платком,
И был тот платок со слезами знаком.

Вернул я с чужбины лампаду домой,
Но только горянки уж нету со мной.

К горячей печи прижимаю ладонь.
Один я. Со мной – златоглазый огонь.
1981

* * *

Две слезы скатились по ланитам,
В жизни я любовь изведал дважды.
Но лучиться жемчугом омытым –
Нет, не суждено слезинке каждой.

Отбивает сердце два удара.
Дважды в жизни я любовь изведал.
Станет ли мелодией для тара¹
Сердца стук? Иль напророчит беды...
1980

* * *

Когда умолкают все звуки в ночи
И входит в стихи одиночества тьма,
К тебе я взываю: «Прошу, не молчи!
Иначе сойду я к рассвету с ума!»

О, мой собеседник, единственный друг,
Как прежде, я в зеркале вижу тебя.
Но даже чонгура² пленительный звук
Мне сердце тревожит, тоскливо звеня.

И пусть одиночество неумоги,
А прожитый день взят у жизни взаймы.
Я новую с боем беру высоту,
И в зеркале вместе окажемся мы.

Качается зыбка несказанных слов,
Пришла позабытая песня ко мне.
Пусть радость пребудет во веки веков –
Укрылись мы в зеркале наедине.

А зеркалу тоже стареть суждено,
И множатся трещины сами собой.
Но хоть высоту удержать не дано,
Мы в зеркале вместе остались с тобой.
1985

¹ Тар – струнный щипковый музыкальный инструмент.

² Чонгур – струнный щипковый музыкальный инструмент.

* * *

В нашей берёзовой роще
Птицы проснулись с рассветом.
Щебет их в лиственной толще,
В воздухе, солнцем нагретом.
Утром букет собираю
Солнца лучей разноцветных.
Песню о радостном крае
Ночью спою беззаветно.

В этом краю расчудесном
Молодость к нам воротится.
Снова весенние песни
Нам пропоют наши птицы.
Но под весёлые трели
Вдруг утерпят случайно
Жаворонки, свистели
Нашу великую тайну.

Будем с тобою мы плакать –
Жизнь-то прошла безвозвратно.
Ждут впереди дождь и слякоть,
Это и птицам понятно.
Самая страшная тайна
В том, что любовь отлетела
Птицею необычайной,
Нежною горлинкой белой.

В роще берёз белостовольных
Держит нас цепкая память.
Ты в моих мыслях неволью.
Ты и души моей пламя.
Вот, между раем и адом
Мне уготована старость.
А для бессмертия надо,
Чтобы лишь песня осталась.

2021

* * *

Я ли тебя позабуду?
Мне ли забыть суждено
Сердца влюблённого чудо –
Нашей любви полотно?..
Или ту саму песню,
С милых спорхнувшую губ.
Песню, что нету прелестней,
Стих, что возлюбленной люб.

Я ли тебя позабуду!
Правда, какой в этом прок?
Сердце осталось под спудом –
Жить без тебя я не смог.
Тяжко, дышать не под силу,
Жалкие дни я влачу.
Лечь бы скорее в могилу –
Мука мне не по плечу.

Но позабыть не сумею
Нашу любовь никогда.
Образ твой, вечно лелея,
Я пронесу сквозь года.
Счастлив пойти за тобою –
Только меня позови!
Жаль, не даётся судьбою
Новая жизнь для любви.

2021

*Перевод с аварского
Светланы ЗАМЛЕЛОВОЙ*





Только речь

1

...Осень моя незабвенная давнего шестьдесят третьего года, осень привольная, золотая, светом с небес залитая удивительно ясным, праздничным, волшебным, чистым, целебным, когда я впервые долго жил в Москве, совершенно один, без всякой опеки, свободно, расправляя крылья, как птица, залетевшая вдруг в столицу из провинции, с Украины, из далёких скифских степей, стала, само собою, для меня, совсем ещё юного в ту пору, да просто мальчишки, если на то пошло, но только мальчишки с талантом, как люди считали, особенным, таким, который встречается редко, во все времена, осень моя далёкая, говорю я сегодня, стала для меня той важнейшей гранью, за которой уже начиналась новая, с изумлением неизменным перед распахнутым слуху и зрению миром, с новизной всех ощущений порою невероятная, всегда, в любую минуту и в миг любой, интересная, и не просто густо заполненная, но даже перенасыщенная на редкость разнообразными, увлекательными событиями, творческая, по природе своей, по сути своей, очень самостоятельная, богемная, инопланетная, фантастическая, но реальная, временами фантазмагоричная, временами, что делать, скитальческая, в одиночестве частом певческая, в слишком бурном общении с кем-нибудь всё равно отдельная, личная, с независимостью всегдашней от всего и от всех, особая, над землёю меня поднимавшая, то и дело из бед восстававшая, но всегда драгоценная жизнь.

Москва для меня стала тогда сплошным стремлением: быть!

Но и в юности был я тем, кем пришёл в этот мир: поэтом.



Владимир Дмитриевич Алейников – русский поэт, прозаик, переводчик, художник, родился 28 января 1946 г. в Перми. Вырос на Украине, в Кривом Роге. Окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. Работал в археологических экспедициях, в школе, в газете. Основатель и лидер легендарного литературного содружества СМОГ. С 1965 г. стихи публиковались на Западе. Более четверти века тексты его широко распространялись в самиздате. В восьмидесятых годах был известен как переводчик поэзии народов СССР. Публикации стихов и прозы на родине начались в период перестройки. Автор многих книг стихов и прозы – воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках. Стихи переведены на различные языки. Лауреат премии Андрея Белого, Международной Отметины имени Давида Бурлюка, Бунинской премии, ряда журнальных премий. Член редколлегии журналов «Крестьянин», «Перформанс», «Дон», альманаха «Особняк». Член Союза писателей Москвы, Союза писателей-21 века и Высшего творческого совета этого Союза. Член ПЕН-клуба. Поэт года (2009). Человек года (2010). Награждён двумя медалями и орденом.

Живёт в Москве и Коктебеле.

Был самим собою. Всегда.

И всё же, вот что занятно, вот что сейчас мне кажется загадкой, да и только, странностью, что ли, былой, или это вполне естественно для поэта, ещё молодого, и понятно мне лишь теперь, когда сам я, увы, немолод, в юности, крайне редко, так редко, что случаи эти буквально наперечёт, у меня иногда возникало наивное, это уж точно, теперь-то мне это ясно, и давно уже, а тогда искреннее, мальчишеское желание познакомиться не со всеми, конечно, с некоторыми людьми, для меня интересными, со столичными знаменитостями.

И однажды я всё же попробовал желание это, брезжущее в сознании, то исчезающее надолго, то возникающее сызнова, неожиданно, врасплох меня застающее, вроде бы и ненужное, ну подумаешь, обойдусь, а может быть, и полезное для меня, поди догадайся, кто его знает, каким оно оказаться может, и что в нём для меня в грядущем таится, на практике осуществить.

Как-то, под настроение «с мелькнувшим: была не была!», как сказал однажды в своём старом стихотворении друг моей криворожской юности, поэт с непростой судьбой, бронзоволицый, кудрявый, коренастый Юра Каминский, в справочном (вроде домика пряничного, приятного, или вроде добротной будки, что вернее, трудно сказать, да и надо ли говорить), нужного для человечества, жаждущего общения, ищущего друг друга по всему Союзу, бюро, одного из великого множества подобных ему, по столице разбросанных там и сям, а в моём, вспоминаю, случае, расположенного у выхода из метро, какого конкретно, совершенно сейчас не помню, да и надо ли вспоминать, если память моя хранит совсем другие подробности давно минувшего времени, штрихи его, гибкие линии, а то и скопления образов, узнал я домашний адрес поэта Евг. Евтушенко.

Симпатичная с виду тётенька жестом доброй сказочной феи протянула мне, улыбнувшись, похожую на квитанцию серенькую бумажку с этим заветным адресом.

И я, без особых раздумий, поехал прямо туда.

Знаменитый поэт, на звонок мой долгий, открыл мне дверь и встал столбом на пороге, явно не собираясь пускать меня, незнакомца молодого, в квартиру свою.

В ответ на мои слова о том, что я с Украины приехал в Москву, что давно уже мечтаю с ним познакомиться и очень хочу почитать ему стихи свои, Евтушенко, продолжая стоять в двери, вроде стражника, без алебарды, без пищаля, зато спортивного, так тогда показалось мне, худощавого и подтянутого, словно прямо сейчас он станет возле дома бегать трусцой, потрянул своей полудетской, полувзрослой, срезанной наискось, гитлерюгендовской какой-то, приклатнённой, дворовой чёлочкой, отрицательно помахал у порога длинной рукой и довольно категорично, хорошо поставленным голосом, с интонациями, стальными в каждом слове отдельном, изрёк:

– Нет! Собираюсь в дорогу. Уезжаю вскоре на север.

В прихожей возник человек необычный, крупный, плечистый, лысый, в больших очках, в ковбойке поношенной клетчатой, выглядевший, как в былинах, увальнем-великаном, в движениях всех медлительным, но с немалой силой в тяжёлом теле, со странной взрывчатостью, спрятанной где-то внутри, вдруг сверкнувшей во взгляде его исподлобья, грузно шагнувший вперёд, как шагают в походе, по тропе, с рюкзаком за плечами, упрямо, целенаправленно,

в котором, по фотографиям, встречавшимся, иногда, в журналах, узнал я писателя Юрия Казакова.

Он взглянул на меня – и скрылся в глубине просторной квартиры.

Там, в квартире, за приоткрытой стражем-хозяином дверью, висели на стенах яркие, неизвестные мне картины.

Евтушенко снова тряхнул, отрицательно, для понятности, покачнувшейся наискось чёлочкой – и закрыл за собою дверь. Пообщаться с ним – не удалось.

Тогда я узнал адрес и телефон Рождественского.

Действовал я на сей раз по-другому. Стратегию с тактикой несколько изменил.

Выпил немного, для храбрости.

Взял да и позвонил, напрямую, железному Роберту.

Трубку сняла какая-то приятная, судя по голосу и по тому, что за голосом невольно подразумевалось, воспитанная, московская, интеллигентная дама.

Я поздоровался с нею – и с ходу ей прочитал, не теряя времени, первое в голову мне пришедшее, из многих, мною написанных, нигде никогда не изданных, лежащих бумажными грудями в папках, стихотворение.

– А ещё? – проявив интерес несомненный, спросила дама.

Я прочитал, вслед за первым, и второе стихотворение.

– А ещё послушать мне можно? – с явной тёплой ноткой в голосе низко ватом, спросила дама.

Я прочитал, волнуясь, и третье стихотворение.

– Хорошие это стихи, – сказала приветливо дама. – Кто вы такой? Назовитесь. Расскажите мне о себе.

Я назвал себя тогда – и вкратце, без подробностей всяких ненужных, толково и внятно, доходчиво, как сумел, рассказал о себе.

– Вы, наверно, и сами, Володя, догадались уже, что я, говорящая с вами сейчас и стихи ваши только что слушавшая, не случайная собеседница какая-то, лишь бы только поболтать нам о том, о сём, да стихи послушать, хорошие, что не так уж часто бывает, можете мне поверить, я знаю, что говорю, и за свои слова отвечаю всегда, поскольку знаю цену словам, давно, хорошо, я супруга Роберта Ивановича, – сказала дама. И, после паузы: – Я понимаю, что вам хочется с ним увидеться. Человек он весьма занятой. Как быть? Придётся подумать! – дама секунду помедлила и продолжила: – Знаете, что? Сегодня я поговорю с мужем. А вы мне завтра, с утра, но не слишком рано, обязательно позвоните. И я сообщу вам, когда может произойти ваша встреча. Договорились? Ну, вот и чудесно. Звоните. А стихи ваши, честно скажу вам, Володя, мне очень понравились. Всего вам самого доброго.

Ну, как на юге сказали бы, это было уже кое-что.

Может, хоть одного, из трёх столичных китов-шестидесятников, скоро своими глазами увижу?

Утром я позвонил.

Приветливая супруга поэта сказала мне, что встретиться с мужем её могу я сегодня же днём, будет ждать он тогда-то и там-то.

Ия приехал к Рождественскому.

Дверь открыл он мне самолично.

И в квартиру меня впустил.

Но, однако, не дальше прихожей.

На стене здесь висела картинка, чья-то графика, было похоже на художника Красаускаса, чьи работы публиковались постоянно в журнале «Юность».

Стоял у стены в прихожей маленький круглый столик, возле него – два стула.

На одном из стульев сидел человек, похожий на жителя заграницы советской, Прибалтики.

Поздоровался он со мной с прибалтийским, само собой, литовским, похоже, акцентом.

Рождественский сел на второй, только что пустовавший, а теперь уже занятый стул – и, коротко мне махнув пухлой ручкой с толстыми пальцами, так же коротко бросил мне сквозь резиновые, надутые, толстоватые, сизые губы, заикаясь при этом:

– Ч-ч-читайте!

Сесть меня не пригласили, да и некуда, впрочем, было.

Посему я, стоя в плаще посередине прихожей, начал читать стихи.

Прочитал. Взглянул на Рождественского: какова же его реакция?

Рождественский губы резиновые раздул – и, вновь заикаясь, коротко бросил, голосом робота:

– М-мне н-не н-нравится!

– Ну почему же, Роберт? – сказал с прибалтийским акцентом сидевший за столиком круглым незнакомый мне человек. – Стихи, я считаю, хорошие. Мне интересно было услышать их. Современные. Очень оригинальные.

– Н-нет, м-мне н-не н-нравится! – лязгнуло, а не сказал Рождественский. Ну, на нет и суда нет.

А гордость – была у меня.

Поэтому взял я сумку свою – и направился к двери.

Попрощался спокойно, из вежливости.

Подождал, покуда железный Роберт, пыхтя и лязгая коленями и локтями, ключицами и суставами, не смазанными, наверное, открывал мне дверь. И ушёл.

Дверь квартиры с раскатистым грохотом вмиг за мной захлопнулась. Эхо раздалось в подъезде. Заглохло. Поднялась над лестницей пыль.

Затряслись, пошатнулись стены. Появилось подобье пены. Или – плазмы. Завыли сирены. Родилась не сказка, но боль.

Что-то в доме гудело. Ныло. Что-то падало, вроде мыла. Кто-то, чтоб ему пусто было, воспевал, небось, коммунизм.

Только щёлкнуло что-то. Лязгнуло. Зашипело. Зарокотало. Забурлило. Железный Роберт, видно, смазывал свой механизм.

Ирешил я тогда позвонить киту столичному третьему, самому, из троих, талантливому, Вознесенскому.

Промелькнула, конечно, мысль: а вдруг попытка моя успехом не увенчается – и получится нечто подобное, всё возможно ведь, первым двум?

Однако же, по чутью, по наитию, как обычно, да ещё и, чего там скрывать, из упрямства, я позвонил.

Поэт оказался дома.

Я вежливо поздоровался, представился, объяснил, почему я хочу с ним увидеться.

И в ответ услышал нежданно:

– Хорошо. Приезжайте ко мне. Прямо сейчас. Мой адрес вы, полагаю, знаете?

Я пояснил поэту, что адрес узнал я в справочном бюро, незадолго до нынешнего звонка моего к нему, но не очень-то представляю, как мне туда добираться.

– Найти меня просто, – сказал Вознесенский. – Вы доезжайте на метро до станции Бауманская. Там выход вверх один. Пройдёте немного в сторону Елоховского собора. Мой дом – напротив него. Жду. Поскорей приезжайте.

Надо было ехать. Поэт в гости к себе меня ждёт!

Была у меня тетрадь, в которую клеивал я газетные и журнальные вырезки со стихами, какие уж попадали в поле зрения, Вознесенского.

Книг его, на шумевших так сильно по всему Союзу и даже за границей, у нас в провинции днём с огнём было не достать.

«Мозаику» и «Параболу» прочитал я недавно, в Москве, в Ленинской библиотеке, и там же, прямо на месте, не поленился, конечно, переписать в тетрадь свою эти яркие сборники.

В ту пору я очень многое, за неимением пишущей машинки своей, о которой оставалось только мечтать, просто-напросто переписывал, для себя, по привычке давнишней, по традиции, от руки.

Тетрадь эту, пусть и наивное, но стоящее внимания самиздатовское изделие, решил я, поколебавшись сперва, но потом решившись на этот жест, или шаг, или, может, поступок даже, всё равно ведь, как их назвать, как точнее определить, если всё это будет искренне, от души, показать поэту.

Жил я тогда всё в той же (многokrатно воспетой мною в этой книге и прочих книгах из серии сочинений моих о былой эпохе и людях этой эпохи, которая называется «Отзывчивая среда»), коммунальной, во всех отношениях приятной, удобной комнате на Автозаводской улице, предоставленной мне дружелюбно, с криворожских ещё времён, настроенными Герасимовыми.

Довольно быстро собравшись, я отправился – дале – в путь.

По дороге я вспоминал, как у нас в Кривом Роге, весной прошлого, шестьдесят второго, Тигриного года, купил я в газетном киоске номер очередной журнала толстого «Знамя», где напечатаны были, к великой радости всех тогдашних читателей, «Тридцать отступлений», ещё и каких, новаторских, дерзких, звонких, полнокровных, исполненных силы богатырской, могло показаться многим людям в стране, из поэмы «Треугольная груша» – огромная публикация, целая книга, – и открыл журнал, и немедленно, увлечённо, начал читать, стоя под разгулявшимся вовсю весенним дождём, возле сквера, в котором шумел воробьиный громадный базар, совершенно не замечая ни дождя, идущего долго, ни воробьиного гвалта, в своём промокшем насквозь китайском светленьком плащике, покуда не прочитал все стихи, до последней строчки, и потом шёл домой, на Гданцевку, под дождём, слегка ошарашенный всем, только что мною прочитанным, и думал, шестнадцатилетний, о том, как всё это здорово, нет, прямо-таки замечательно, удивительно, превосходно, и нет всему этому равного, пока что, потом – посмотрим, потом ещё поглядим, кто будет писать и получше, увидим всё это, со временем, потом, другими глазами, как Пушкин сказал, духовными, и в этом-то путь, и смысл, и суть поэзии русской, – и прошло с тех пор время, недолгое, и кругозор мой расширился, но то впечатление, первое, так и осталось в памяти.

Дом номер сорок пять, возвышающийся на Нижней Красносельской улице, был действительно расположен в аккурат напротив Елоховского собора – и окнами всех своих этажей смотрел на высокие купола его, парящие в облаках, величественно плывущие в небесах столичных осенних, на просторный двор, отделённый от мирской суеты, от соблазнов суеты этой, столь нежелательной для парения духа, для тихих молений и песнопений, высокой, прочной оградой, за которой видны были низкие, густые постройки дворовые, трапезная, наверное, и что-то с виду хозяйственное, сараи, может быть, всякие, подсобные помещения различные, кладовые, и деревьев ряды, на которых верещали, чирикали птицы, над которыми вверх взмывали и сияли там, в эмпиреях, в горних далах, в глубинах синих, с ослепительным блеском, кресты, – а внизу, между тем, продолжалась абсолютно другая жизнь, с чередой забот повседневных, с магазинными очередями, с разговорами в них о ценах на продукты, с газетными стендами на замызганных тротуарах, с отдалённой угрозой атомной скоротечной войны, с размеренным настоящим и смутным будущим.

(Через пятнадцать лет буду я в этом соборе работать, не кем-нибудь там имеющим отношение к религии, к патриархату, нет, что вы, а просто дворником.)

Буду ломом колоть лёд и лопатой сгребать снег, всякий мусор сметать метлой и в совок собирать, а потом куда-то всё это выбрасывать, и опять размахивать ломом, против которого нет, как любому известно, приёма, и лопатой в снегу шуровать, и метлой всякий мусор сметать, и в совок его собирать, и куда-то всё это выбрасывать, и опять хвататься за лом, лопату, метлу и совок, под командой скверного старосты, мужичка, почти опереточного, с характером отвратительным, привередливого, занудного, работая за гроши, хотя и с кормёжкой в трапезной, вкальвая во дворе, просторном, хотя и с постройками различными, и на улице, иногда устало поглядывая на окна дома, в котором жил в начале шестидесятых знаменитый поэт Вознесенский.

В сторожке возле собора будет сидеть Кублановский, числившийся в сторожах, попить чаёк и винцо, читать запрещённые книги и записывать между делом в тетрадку школьную тоненькую свои, о судьбе России, вполне вероятно, а может быть, о романах с прекрасными дамами, о поездках, на юг и на север, обо всё понемножку, стихи.

Сторож другой, философ Лёва Пасеков, человек смуглый, с глазами горящими, с волосами до узких плеч, худющий до невозможности, скиталец, отшельник, аскет, обитать будет прямо в соборе, в крупнейшем тёплом подвале, и я, изрядно измотанный бездомными своими, с позволения Лёвы, порою тоже стану там ночевать.

Скитаться по всей Москве, без постоянного крова, без приемлемой для властей, хоть какой-нибудь, но работы, будет уже опасно, и поэтому я, сознательно, чтобы хотя бы на время, ненадолго, пускай, но избавиться от повышенного внимания, ментовского, и другого, пострашнее намного, ко мне, подамся смиренно в работники лома, лопаты, метлы и совка, то есть, попросту, в дворники.

Но всё это, как и прочее, не больно-то, согласитесь, весёлое и распрекрасное, только будет ещё, впереди.)

А пока что, в другое время, о котором сейчас говорю я, шла своим чередом столичная, с голубиными сизыми стаями на асфальте, с листвою жёлтою на ветвях деревьев, с троллейбусами, впрямь из песенки окупавской, с холодком над Москвой-рекою, с ветерком кручёным за Лузой, с небесами, то ясными, синими, то затянутыми пеленою смутноватой, к дождю, наверное, с прорывающимся неожиданно, сквозь любые преграды, солнышком, с перезвоном красных трамваев, с огоньками такси зелёными, с разговорами о театре «Современник» в метро и в автобусах, с холстами Сезанна в музее на Волхонке, с неистовым Врубелем в Третьяковке, с новыми встречами и стихами, славная осень, – и ехал я к Вознесенскому, и легко нашёл нужный мне дом.

Вознесенский предстал предо мною в лучах мировой своей славы.

Моложавый, тридцатилетний, оживлённый, весь на подъёме, на взлёте, в рывке, вперёд, и дальше, ещё вперёд, в движении, круговом, пружинистом, постоянном, привычном, вокруг оси невидимой, чтобы вырваться из круга, взлететь, воспарить над миром, и вновь приземлиться, и вновь устремиться ввысь, к вершинам новым, томящим возможностью покорения, признанием этой победы, пленительным торжеством над косностью быта, строя общественного, над всем ненужным, давно мешающим свободе слова, певучего, живого, полного сил, чистого, родникового, серебряного, звенящего соловьиным цоканьем, трелями, шелестящей летней листвою, снежком иногда холодящего, русского, настоящего, буйным жаром вдруг обдающего ради праздничного грядущего, моложавый, нет, молодой, под счастливой своей звездой, весь удача, восторг, прорыв сквозь гнетущую мглу, прилив крови к сердцу, вискам, глазам, отворивший шутя сезам, приоткрывший в пространство дверь преспокойно и без потерь, распознавший, как в сказке, путь самый верный, ещё чуть-чуть и настанет блаженный час, век беспечный, лесковский сказ, впрочем, вспомнится, хороша очарованная душа, только в чарах спасенья нет от невзгод, принимай, поэт, всё, как есть, берегись химер, сластолюбец, визионер, будь мудрее, ан нет, решит, обойдётся, и жить спешит, моложавый, тридцатилетний, знать, не первый и не последний в череде чародеев, глух к назиданьям, невольник-дух в оболочке хрупкой, парад фраз и образов, маскарад, фейерверк и потешный бой, бег отчаянный за судьбой, шаг беспомощный поперёк, Бог с другими, а вот порог, вот черта роковая, грань, различимая, ну-ка глянь, фаска, лезвие, остриё, что-то чуждое, не своё, как тут быть, на кого пенять, что попробовать предпринять, позже, некогда, всё равно, век торопит, стучась в окно, что-то надо ещё урвать, скоро некого будет звать, чтобы вместе звончее петь, что-то надо ещё успеть, ритмы, скорость, лишь свист в ушах, торопыга, и дело швах, и не думать об этом грех, но по новой грядёт успех, ахи, охи, стихи, скорей, не за тридевять ли морей, не куда-то ли в никуда, самолёты да поезда, заповедные адреса, небо, взлётная полоса, остановленные часы, голос, брошенный на весы глухо звякнувшим пятакон, жребий вынутый, в горле ком, в зазеркалье случайный взгляд, рай недолгий, крошечный ад впереди, в подмосковном сне, в каждой ночи и в каждом дне, вспоминать ли о прошлом, нет, впереди невозможный свет, позади круговой маршрут, незаметно свёрнутый в жгут, но до этого ли сейчас, если весь он как весть для вас о невиданных чудесах, ветер, облако в небесах, воздух утренний, лунный вздох двух столетий и двух эпох, мост меж разных двух берегов, перешёл да и был таков, рудоносный глубинный пласт, и в обиду себя не даст, и простит, и, небось, поймёт, и своё на авось возьмёт всё

равно, так спиши слова и прими его, хоть сперва, поначалу, таким, каков был: сияние двух зрачков, двух призваний слиянье в них, двух кровей, двух дорог земных, двух людей, двух идей, двух драм, – впрочем, пусть разберётся сам.

Вознесенский, Андрей Андреевич, моложавый, тридцатилетний, весь в движении, оживлённый, с регулярно, не в лоб, но вскользь, исподволь, ненавязчиво, но уже для него привычно подчёркиваемым незримой, но явственной, чёткой линией осознанием своего собственного значения не только для русской поэзии, но и для мировой, весь, с головы до ног, в заграничном, сплошь супермодном, – разлетающийся пиджак, однобортный, с разрезом, в клеточку, брючки со стреловидной складкой, светленькая рубашка, небрежно, умело повязанный, артистичный, узорчатый шарфик на шее с тугим кадыком, заправленный под рубашку, диковинной розой глядящий наружу из-под расстёгнутого слегка, свободного ворота, – подстриженный аккуратно, худой, расправляющий плечи, то вдвигающий в них, глубоко, то высоко выдвигающий из них и шею, и голову, всю, ритмично, одновременно, подвижный, отчасти утрирующий лёгкость движений, стремительность их, с повадками баловня судьбы, с несомненным отсветом явно и не случайно нравящегося ему этакое счастливое, светлого моцартианства во всём, что связано с ним, – он встретил меня, молодого незнакомца, очень приветливо, на удивление просто, без всяческого кривляния, ломания, так мне казалось.

Он пригласил меня в свою пустоватую комнату.

В ней царил, уж это понятно, артистический беспорядок.

Вещи и книги стояли и лежали во всех углах, на полу, на столе, вперемешку.

Бросились тут же в глаза наклейки на чемоданах, ненашенские, заграничные.

На подоконнике грудой лежали, чернея чёткой машинописью, листы хорошей белой бумаги.

Я взглянул: ну конечно же, новые стихи его! Что за стихи?

На стене, на виду, висела роскошная, словно из детства моего, каляка-маляка, узнаваемая мгновенно, нарисованная Шагалом, форматом в ватманский лист.

На каляке-маляке роились какие-то пятна, знаки, загогулины всякие, линии, то пунктиром, то чётче, штрихи, возникали смутные образы, еле брезжило что-то щемящее, лирическое, сокровенное, и внизу была подпись размашистая, от щедрот маэстро, наверное, аршинными яркими буквами, как на вывеске где-то в провинции, но латиницей, крупно: Шагал.

Сигареты были – ненашенские, заграничные, непривычные для меня, возможно – отличные, кто их знает, и кто их пробовал покурить хоть однажды? – в продаже таких в провинции не было, не было и в столице, – а здесь они запросто – «Мальборо».

В вазах лежали крупные оранжевые апельсины, большие жёлто-зелёные виноградные спелые гроздья.

В общем, из жизни артиста.

Обиталище яркой звезды.

– Бодки хотите? – спросил меня, ни с того, ни с сего, Вознесенский.

Я решительно отказался.

Он налил себе водки, выпил.

Закусил, отщипнув их с грозди, несколькими виноградинами. Закурил сигарету «Мальборо».

– Это мне Шагал подарил. Я был у него, в Париже! – сказал Вознесенский, увидев, что я с интересом разглядываю большую каляку-маляку.

– Новая книга? – спросил я, показывая на груды лежащих на подоконнике плотных, белых листов с машинописью, отчётливой, такой, где каждая буква была ну прямо игрушечкой, явно профессиональной.

– Да! – небрежно сказал Вознесенский. – Скоро в «Знамени» напечатают.

«Что-то, как я погляжу, и не пахнет здесь никакой, примитивной даже, гонимостью!» – подумал я, молодой, но успевший уже пострадать, с проработкой, властями устроенной местными, с обличениями в республиканской прессе, за стихи свои, и тогда, и доселе, так и не изданные, на Украине, в период хрущёвской борьбы с формализмом.

(В своих мемуарах, изданных томом одним, представляющих собою гремучую смесь из прежних его писаний, лихо перетасованных, дополненных иногда всякими любопытными, с матерщиной порою, подробностями, Вознесенский всем сообщает, что как раз в это время, в период хрущёвской борьбы с формализмом, лысый, всесильный глава коммунистической партии и отечественного, советского, состоявшего сплошь из монстров и чиновников ушлых, правительства разнёс его в пух и прах, и был знаменитый поэт удручён, совершенно затравлен, регулярно впадал в отчаяние и даже всерьёз подумывал о том, чтобы взять да свести счёты с жизнью, чего, мол, там, пожил, и хватит, гори всё синим, как говорится, пламенем, для чего наивно пытался раздобыть у поэта Межирова, бывшего фронтовика, имевшийся у того пистолет, но Межиров быстро сообразил, что тут что-то не так, и от выдачи своему молодому собрату по перу боевого оружия, так вот запросто, в наших-то, тех ещё, бывших советских условиях, находившегося у него дома, всегда под рукой, он, человек бывалый, уклонился от псевдопомощи старающемуся поэту, не стал рисковать, посоветовал приобрести ствол в Грузии, где за хорошие деньги, как всем известно, всё можно было достать, – и вынужден был поэт Вознесенский, Андрей Андреевич, остаться вовсе не с носом, это лишнее, но без оружия, при своих тогдашних страданиях и своих, как всегда, интересах.

Страдания эти были, как я погляжу, читатель мой возможный, просто ужасными: готовилась очередная огромная публикация в «Знамени», со стихами новыми о загранице и с «Лонжюмо», поэмой о Ленине, продолжающей традиции маяковские, в издательстве «Молодая гвардия» тоже готовилась к печати новая книга стихов, по тем временам внушительная по объёму, с большим тиражом. И так далее.

Так что страдания вроде бы гонимого и затравленного властями, такими-сякими, нехорошими, право слово, популярнейшего поэта самым естественным образом переходили в его интересы, которые вскоре, в свою очередь, неизменно, как всегда, воплощались в дела.

Словом, «под распарившимся Парижем Ленин режется в городки», «а рядом лежит в облаках алебастровых планета – как Ленин, мудра и лобаста», «если спросят: “Какого стиля?” – “Школы Ленина”, – говорим», «шарф мой, Париж мой», «пел Твардовский в ночной Флоренции», «я занят, я его прерву: в девять тридцать – интервью», «продай меня, Марше Опюс», «я в Шушенском. В лесу слоняюсь...»

И всё было, в общем-то, в норме.

Или, как говорят, на мази.

Какие, право, счастливые люди – эти гонимые и неведомо кем затравленные, до мозга костей советские, несмотря на всю авангардность их, узаконенную властями, неизвестно зачем страдающие, не от сладкой ли жизни, поэты!

Чем круче гонимость, тем больше изданий. Сплошные удачи! Везуха, и только. Фарт.

Нет, возможный читатель мой, не напрасно кое-кому говаривал со значением прошедший такую школу гонимости [«школу Ленина», вероятно, по Вознесенскому!], что и врагу заядлому такого не пожелаешь, Толя Зверев, художник: «Старик, тебя никогда не били!»

Но, как пел под гитару свою тихострунную Окуджава: «Ах, это, братцы, о другом!»)

Вознесенский меня расспросил, кто я, откуда приехал.

Очень коротко я тогда рассказал ему о себе.

– Есть у вас однофамилец, – сказал Вознесенский, щурясь на свет из окна. – Николай Олейников. Замечательный поэт. Вы такого знаете?

Я сказал:

– Нет, ещё не знаю. Но в ближайшее самое время постараюсь его узнать.

Основания так говорить у меня, разумеется, были.

Я как раз собирался приехать, созвонившись с ним, к Диме Борисову, чтобы там, у него в квартире, где хранились целые горы самиздатовских перепечаток, прочитать повнимательней всех обэриутов, оптом.

Хармса я уже знал.

Заболоцкого тоже знал, причём хорошо, выделяя его из всех остальных, потому что был он не просто обэриут, литератор авангардный и эпатажный, но великий русский поэт.

Оставались как раз Олейников и Введенский, отдельные строчки сочинений которого я помнил уже наизусть.

А уже прочитанных мною не мешало бы вновь почитать.

Я сказал:

– Николай Олейников пишется с буквы «О»

– А вы? – спросил Вознесенский.

Я ответил:

– А я – с буквы «А».

– Почитайте стихи! – сказал, посмотрев на каляку-маляку, а потом на меня, Вознесенский.

Он зачем-то прилёг на тахту.

Приготовился слушать, в лежачем положении. Прихоть артиста, не иначе! Капризы звезды.

Модные брючки его слегка задрались. Наружу выглянули шикарные носки заграничные, пёстренькие, длинные, будто гольфы, почти до колен, на резиночке.

И, устроившись поудобнее на тахте, Вознесенский снова, дружелюбно вполне, сказал:

– Почитайте стихи, Володя!

Я прочитал ему несколько тогдашних стихотворений.

– Хорошо! – сказал мне поэт. – Интересно. Вот только вы рифмуете «девочки – деревце». Это уже не модно.

Я, из вежливости, промолчал.

– **А**, – сказал Вознесенский, отщипывая виноградины и отправляя их, одну за другою, в рот, а потом их жуя и глотая с удовольствием, – самое главное в искусстве – это всегда быть, Володя, самим собой. Вот, например, как Асеев. «Тулумбасы, бей, бей! Запороги, гей, гей!» И сразу видно, что это именно он написал. Или как Николай Олейников, ваш, Володя, ещё не прочитанный вами, однофамилец. «Маленькая рыбка, жареный карась, где ж твоя улыбка, что была вчерась?» Или как Заболоцкий. Помните? «Прямые лысые мужья сидят, как выстрел из ружья». Или это его, из «Столбцов». Наверное, тоже помните? «Сидит извозчик как на троне, из ваты сделана броня, и борода, как на иконе, лежит, монетами звеня. А бедный конь руками машет, то вытянется, как налим, то снова восемь ног сверкают в его блестящем животе». Я дружил с Пастернаком, со школьных лет своих. Часто бывал у него. После школы учился в институте Архитектурном. Пошёл туда специально, чтобы моя профессия будущая не имела отношения к литературе. И вот однажды принёс я Пастернаку стихи свои новые. Он прочитал их внимательно и сказал мне, что рад бы и сам написать такие стихи, что мог бы включить их в свой сборник. Знаете, есть у него, в поздних его стихах: как из картины в картину, вхожу, или перехожу, как на выставке, помните сами эту вещь, наверно, картин... И у меня было что-то в этом роде. И понял я, что так мне писать нельзя. На время бросил поэзию. Занимался немного живописью. Занимался архитектурой. Позже пошли стихи, я понял, уже мои. Принёс их тогда Пастернаку. Борис Леонидович был так рад, что я состоялся. Радовался, когда я стал наконец печататься. Поздравлял меня, от души. Да, важно, чтобы в стихах всё было своё, всегда. Мои друзья, Евтушенко, Рождественский, Окуджава, – поэты давно состоявшиеся и все со своим лицом. Лучший поэт, конечно, из нынешних, Ахмадулина.

– **А** принёс с собой самодельную книгу ваших стихов, которую составляю уже давно, и хочу вам её показать, – сказал я, после недолгого размышления, Вознесенскому.

Поэт сказал:

– Интересно! Покажите. Хочу посмотреть.

Достал я из сумки тетрадь с наклеенными на каждой странице, довольно густо, вырезками из журналов и газет, в изрядном количестве, а также и с переписанными от руки отдельными текстами и даже целыми сборниками, протянул её Вознесенскому.

Он полистал тетрадь.

Видно было, что он польщён.

Похоже, даже растрогался.

– А что же, на Украине нельзя достать мои книги? – спросил он меня с любопытством. – «Треугольную грушу» мою разве нельзя купить?

Я ответил ему:

– Невозможно!

Так оно ведь и было на деле.

Ну хоть расшибись, эту книгу невозможно было достать.

– Я вам сейчас подарю! – сказал Вознесенский, встав с тахты и шагнув куда-то к журнальным и книжным гудам.

В этих гудам он отыскал продолговатую книжечку с выразительной, очень броской, бело-красно-чёрной, отчасти под Малевича, авангардной, супрематистской обложкой.

Взял со стола заграничную, не перьевую, а шариковую ручку. Непринуждённо повертел её в гибких пальцах.

Раскрыл уверенным жестом свою «Треугольную грушу».

И на титульном белом листе размашисто написал:

«Володе Олейникову с сердечными пожеланиями стать Олейниковым. Андрей Вознесенский. Москва, XX век».

Надпись эту вначале я толком не разглядел.

Поблагодарил его – и положил подаренную книгу в свою сумку.

А когда, уже позже, увидел, что написать умудрился Вознесенский в моей фамилии вместо «А» досадное «О», то вскипел и мгновенно подумал: ну, уж нет! Никаким Олейниковым стать я не собираюсь.

Я – Алейников. Ясно? Запомните это твёрдо. Я сам по себе. Алейниковым я был, есть и всегда останусь.

Но это было уже на обратной дороге, когда возвращался я на Автозаводскую.

А пока что поэт знаменитый, Вознесенский, меня, человека молодого совсем, хоть и пишущего давно и всерьёз, приветивший и книгой своей одаривший, то расспрашивал, с интересом, не наигранным вовсе, о чём-нибудь, и я ему что-то рассказывал, а он виноград отщипывал от грозди, пожёвывал ягоды, закуривал изредка «Мальборо», сквозь дымок ароматный шурился, улыбался, как сфинкс, и слушал, то сам что-нибудь, из своей биографии, снова рассказывал – и я внимательно слушал.

Зазвонил, соловьём заливаясь механическим, телефон.

Вознесенский привычным движением человека двадцатого века, имеющим дело с техникой современной давно и всюду, где бы ни был он, поднял трубку:

– Да, да! Хорошо. Скоро буду.

Весь в моцартианстве этаким, в порыве, почти в полёте, он положил небрежно телефонную трубку, так, словно волшебную флейту в сторону отложил, только что, с удовольствием, что-то сыграв на ней новое, самое свежее, и обернулся ко мне.

– Сякин звонил! – сказал он мне так, будто я хорошо себе представлял, кто такой этот Сякин.

(Позже я понял, что это редактор, весьма известный, передовой, издательства «Молодая гвардия», где готовилась новая книга Вознесенского. А в период моей работы редактором в издательстве «Современник», о чём до сих пор вспоминаю с ужасом и содроганием, я с ним и познакомился. Он приходил туда. Вроде бы там подрабатывал. Очень гордился тем, что это именно он издал в своё время книгу прозябавшего в нищете глухой Леонида Мартынова, чем спас его от забвения и вызвал к его стихам интерес, вначале читательский, а вслед за ним и издательский, остальное же всем известно. И, конечно же, тем, что он, после хрущёвской ругани, вопреки всем проишкам ярых и матёрых гонителей нового в нашей литературе, издал ещё и Вознесенского.)

– Надо ехать! – сказал Вознесенский. – Подвезти вас куда-нибудь? Хотите? Я – на такси.

Мы вышли с поэтом из дому на осеннюю шумную улицу.

Напротив собора Елоховского, на фоне всех куполов его, и крестов, и ограды высокой, и двора просторного, с разными хозяйственными постройками и деревьями, по ветру плещущими золотящейся лёгкой листвой, Вознесенский, взмахнув рукой, словно решив почитать всей округе, всему вообще миру, стихи свои новые, быстро поймал такси.

Забрались в машину, поехали.

– Вам куда? – спросил Вознесенский.

Я ответил:

– Я выйду в центре.

Вознесенский сказал:

– Пожалуйста!

И тут я, не удержавшись, достал из сумки своей и показал поэту напечатанные в Кривом Роге, в пятидесяти экземплярах, на ротапинтере, пародии приятеля моего, Славы Уриха, человека из нашей компании тамошней, на «Треугольную грушу».

Вознесенский без энтузиазма, как-то вскользь, полистал страницы.

Ничего не сказал. Кривовато улыбнулся. Вернул мне пародии.

Подъезжали мы к центру столицы.

Вознесенский взглянул на меня.

Подобрел. Расплылся в улыбке.

– Звоните мне. Приезжайте, – сказал он. – Пишите стихи. Мне интересно то, что вы делаете в поэзии.

– Буду писать стихи, – сказал я. – А если снова окажусь в Москве и застану вас дома, то, может быть, ещё и приеду к вам.

– Вот и чудесно, Володя! Буду ждать! – сказал Вознесенский.

В центре я попрощался с ним и выбрался из такси на усыпанный жёлтыми листьями, темнеющий влажным асфальтом, выщербленный тротуар.

А знаменитый поэт, глядя на мир сквозь тусклое боковое стекло машины и улыбаясь осени, дальше поехал. К Сякину.

Ничего, ничего, думал я про себя, широко вышагивая по Тверскому, очень московскому и с традициями, бульвару.

Я ещё напишу, вот увидите.

Скоро я напишу такое, что все, как у нас говорят на юге, ещё почешутся.

Я свои силы знаю.

И это, ребятки, будет.

Неприменно. И очень скоро.

И я написал своё новое. Настоящее. В октябре.

(Тут придётся сказать, что, привыкнув, ещё с юности, мыслить книгами, в сентябре я пошёл на какой-то ненужный мне эксперимент и попробовал, мол, чего там, вдруг получится интересно, из отдельных стихотворений, связанных меж собою лишь временем написания, сложить, составить, смонтировать некую, любопытную всё же, так я считаю, несмотря ни на что, поэму, которую, с должным вызовом и с разумеемым пафосом, назвал я «Который час?»)

Вещь получилась громоздкая, здоровенная, строк восемьсот, не меньше, если не больше.

Когда, завершив труды свои по выстраиванию поэмы, показал я её однажды человеку весьма разумному, поэту, прозаику, другу моему, Володе

Брагинскому, он, внешне очень похожий на апостола Павла, или же на Петра, не помню точнее, так Дима Борисов считал, посмотрел на меня задумчиво и сказал, что стихи, если взять по отдельности каждую вещь и осмыслить её, хорошие, и они ему искренне нравятся, но вряд ли это поэма, скорее просто удачный, небольшой, для него интересный, достаточно выразительный, сборник стихотворений.

По причине упрямства всегдашнего своего, с детских лет, фамильного, но с довеском немалым личного, я, пока что, во всяком случае, считал моё сочинение свежескроенное – поэмой.

Мне предложили знакомые почитать её, без промедления, в каком-то литобъединении, кажется, при издательстве «Московский рабочий», всех этих сборищ никак не упомнишь.

Почитать, да не просто так, прочитал, мол, и будьте здоровы, я своё уже отработал, как хотите, так и считайте, принимайте, не принимайте, это ваше, ребята, дело, вот и всё, я пошёл домой, но, как водится, – с обсуждением.

Часть этой странной поэмы, с моей, на больших листах переписанной тщательно рукописи, даже перепечатали издательские машинистки.

Поскольку до дня, на который назначено было чтение, времени для работы было у них в обрез, перепечатать весь текст, многострочный, многостраничный, сложный, они не успели.

И настал этот, слишком уж памятный, день моего чтения.

Читал я тогда по-своему, выразительно, увлечённо.

Публика, вот что вскоре заметил я, реагировала на отдельные лишь куски поэмы, именно так, как и следует воспринимать отдельные, обособленные, интересные стихотворения.

Целого же – моей смонтированной поэмы – совершенно не воспринимала.

Я был в ярости. Не на публику, разумеется. На себя.

Это был хороший урок.

Вот тогда и задумался я, впервые, всерьёз, как мне быть, как мне писать свои книги.

И понял: книги мои – пишут себя сами.)

Новая вещь моя называлась коротко – «Врубель».

Считалась она – поэмой.

Но, конечно, была это – книга.

Вначале я прочитал её моим, первейшим, в ту пору, друзьям, образованным, умным, талантливым, – Диме Борисову и Володе Брагинскому. Их мнением, их отношением к моим тогдашним стихам я особенно дорожил.

Они сказали мне: да, это именно то. Твоё. Новое.

И я, окрылённый их пониманием и поддержкой, стал читать свою новую вещь и другим, в тех местах, где хотели услышать её поскорее, а хотели её услышать, поскорее, в любое время, должен прямо сказать, везде.

Молва о ней разнеслась по всей столице мгновенно.

Все пишущие знакомые из круга университетского радовались за меня.

Строгая, как учительница, и требовательная к текстам тогдашних своих друзей и приятелей, Зина Новлянская, русалка с медными, длинными, ниже плеч, волной, волосами и колдовскими, зелёными, с чернотой зрачков таинственной, с характерным разрезом, двумя полумесяцами, глазами, поэтесса, звезда филфака МГУ, написавшая чудную, знаменитую в давнее время, кажется, так и не изданную до сих пор, небольшую поэму «Листопад», говорила

мне добрые слова о моей победе и, отчасти ревниво, всё-таки выражала свою признательность.

Аркаша Пахомов был попросту ошарашен.

Коля Мишин меня цитировал на каждом столичном углу.

А Саша Морозов, поэт филфаковский, выпускавший огромную стенгазету, со стихами, и даже с поэмами, сочинёнными вдохновенными, что вполне понятно, студентами, комсомольский восторженный деятель, после чтения моего в «Бригантине» университетской, филфаковском литературном популярном объединении, встал и при всех заявил, что он, Морозов, отныне прекращает писать стихи, поскольку Владимир Алейников и так всё в грядущем напишет.

Он оказался прав.

Словом, как говорят, наверное, литературоведы, семи пядей во лбу, премудрые граждане, палец им в рот не клади, откусят не глядя, разжуют и мгновенно выплюнут, и ходи потом изувеченным, им-то что, ведь и в ус не дуют, и глазом хоть раз не моргнут, учёные люди, серьёзные, особая, видимо, каста, вполне вероятно, избранные, отмеченные заранее, уж не свыше ли, кто его знает, кто его разберёт, не известно никому, началась моя новая творческая пора.

Писал я, помимо «Врубеля», и другие стихи, необычные по пластике и по ритмике, по той моей полифонии, которая непрерывно улучшалась и разрасталась.

Работал я очень много. Постоянно. С полнейшей отдачей.

Ни единой строчки из этих многочисленных сочинений доселе никто не издал.

Если собрать сейчас уцелевшие чудом тексты или по памяти мною восстановленные позднее – из всей этой массы писаний, терявшихся, уничтожавшихся, расхищавшихся, пропадавших в годы моих бездомий, находящихся вдруг, частями, в непредвиденных самых местах, в которой, помимо поэзии, было немало и прозы, – то, думаю, это займёт не менее трёх томов.

А вернулся к себе на родину – и там, в ноябре, в декабре, писал свои новые вещи.

Из них сложилась одна книга, другая книга, третья книга, четвёртая книга... Все – в единственном экземпляре. Только изредка – в двух или в трёх.

Рукописи мои. Работа моя сокровенная. Работа самоотверженная. Где эти книги, где?

Стихи мои. Проза моя. Времена мои незабвенные. Одиночество. Творчество. Жречество. Речь моя. При свече и звезде.

В январе шестьдесят четвёртого вновь я приехал в Москву.

Будто на волю вырвался.

Мечтал друзей повидать.

Побродить хотел по столице.

Показать кое-что из написанного.

Кому? Ну конечно, друзьям.

Жил какое-то время, недолго совсем, у Димы Борисова, потом оказался, неожиданно, так вышло, на Автозаводской.

Съездил, как и наметил себе, во Владимир, в Суздаль.

Побывал на Нерли, у храма Покрова. Шёл к нему сквозь снег.

Купленную во владимирском Успенском соборе икону Владимирской Божьей Матери с тех пор всегда, где бы ни был я, вожу неизменно с собой.

Вот и сейчас она – рядом.

О зимних своих тогдашних путешествиях я, возможно, ещё расскажу, потом, когда-нибудь, в книгах моих.

Расскажу о январской Москве шестьдесят четвёртого года.

О небесном – и о земном.

Новую книгу стихов своих, переписанную от руки, поскольку машинки не было у меня, я отвёз Вознесенскому.

Позвонил ему с Автозаводской:

– Прочитали книгу мою?

– Володя, вы очень талантливы! – сказал мне тогда Вознесенский, взволнованно, очень серьёзно, и я это вмиг почувствовал. – Очень сильная книга, поверьте мне. Очень ваша. Лучшая вещь, конечно, так я считаю, на мой, особенный, вкус, «Виноградная баллада». Но и другие вещи тоже отличные. Вы очень, очень талантливы. Приходите ко мне в любое время, когда захотите, всегда. Я буду вам рад.

Приятно, тем более в молодости, согласитесь, такое слышать.

Но я почему-то, сразу же после этого разговора, как всегда у меня бывает, по наитию, по чутью, отчётливо понял: показывать стихи свои, хоть когда-нибудь, Вознесенскому – больше не надо.

В этом нет никакого смысла.

У меня – свой собственный путь.

И на этом пути важна для меня – моя независимость.

Видеться с Вознесенским, изредка, можно, пожалуй.

Но стихи ему приносить – нет, никогда нельзя.

Всё. Пообщался. Выслушал мнение о стихах.

И – хватит. Довольно. Баста.

Я чувствовал, что нахожусь в преддверии более сильного, необычного, удивительного творческого периода.

Прежнюю грань – в поэзии – я уже перешагнул.

Впереди была – новая грань.

И я, чуя свет, готовился рывком её – преодолеть.

Своими соображениями поделился я с Димой Борисовым.

– Ты правильно поступаешь! – сказал мне твёрдо Борисов.

Однажды, всё в том же снежном январе шестьдесят четвёртого, сидели мы с Димой Борисовым у меня на Автозаводской и не знали, куда податься.

– Позвони Вознесенскому! – в шутку сказал мне Дима Борисов. – Если где-нибудь он читает сегодня, так пусть пригласит нас. Мы сходим. Стихи послушаем.

И я ему позвонил:

– Андрей Андреевич, здравствуйте! Это Володя Алейников.

– Да, Володя. Рад слышать вас! – ответил мне Вознесенский.

– Вы сегодня читаете где-нибудь? – спросил я тогда поэта.

– Читаю, – сказал Вознесенский. – Во дворце культуры одном. Но только это не мой собственный творческий вечер. Это просто сборный концерт. И читать я буду немного. А что, вы хотите послушать?

Я сказал:
 – Да, хочу послушать.
 Вознесенский сказал:
 – Пожалуйста! Договорюсь – и сделаю пропуск. Вам на одного? Или, может быть, на двоих?
 Я сказал ему:
 – На двоих. Я приду со своим другом.
 – Хорошо, – сказал Вознесенский. – Пропуск будет у администратора. Назовётесь, и он вам его прямо на месте отдаст. Приходите. Я буду рад.
 Я сказал:
 – Спасибо. Придём.
 Дима слушал наш разговор, курил и спокойно помалкивал.
 Я сказал Борису:
 – Дима, всё в порядке. Договорились. Вознесенский оставит нам пропуск на концерт, у администратора, пропуск на два лица.
 Борисов слегка оживился:
 – Вот видишь, как всё удачно складывается. Давай сходим туда. Вечерок на людях скоротаем. И Вознесенского, – тут Димины губы скривились иронично, – хоть я его и не жалую, всё же послушаем.
 До вечера ждать оставалось недолго. И он пришёл, со всеми своими огнями. И мы собрались и отправились вдвоём на грядущий концерт.

Приехали мы с Борисовым в нужный дворец культуры.
 Получили у администратора, солидной накрашенной дамы с высокой, как башня, причёской, пропуск, на два лица, причём она, выдавая нам пропуск, весьма уважительно, со значением, из-под ресниц блеснув глазами, сказала:
 – Андрей Андреевич лично просил меня, чтобы всё без осложнений было, чтобы вы, товарищ Алейников, – вы поэт, да? ой, как я люблю поэтов, у нас они часто и охотно всегда выступают! – на вечере присутствовали обязательно. Милости просим!
 Я сказал ей:
 – Спасибо вам! Я вниманием вашим тронут.
 – Мерси, мадам! – поддержал меня, учтиво, слегка наигранно, галантно и непринуждённо, смешав это всё воедино и сдобрив ещё и особенным, характерным борисовским юмором, для которого иногда не нужны были вовсе слова, но достаточно было взгляда на кого-то, из-под очков, или жеста, или поджатых и уже готовых к улыбке пухлых, чётко очерченных губ с темноватым пушком над ними, чтобы юмор этот почувствовать моментально, Дима Борисов.
 – А друг ваш тоже поэт? – спросила меня накрашенная, солидная администраторша, поправляя свою причёску.
 Я ответил как можно солиднее:
 – Историк литературы!
 – Ой, как интересно! – воскликнула солидная администраторша. – Ну, прошу вас, прошу, товарищи, проходите же, проходите.
 Сняв свои пальто в раздевалке, мы прошли в переполненный зал.

*Шёл сборный концерт. Сборный.
 По чьей-то задумке вздорной.
 Не то, чтоб хреновый. Спорный.
 Обычный. И непритворный.*

*Всякой твари здесь было по паре.
 Все – как будто в каком-то угаре.
 Или, может, виденья в кошмаре?
 Каждый был как довесок – при даре.*

Театральные и цирковые артисты. Одни – с монологами и со сценами из спектаклей. Другие – с кульбитами, сальто и прочими номерами.
 Актёры кино. Узнаваемые. Ба, знакомые лица! С экрана – прямо на сцену. Со сцены – вновь на экран.
 Иллюзионист. Весьма таинственный. Как? Откуда? Зал – в ожиданье чуда. Ведь на дворе – зима.
 Журналисты. Со свежими самыми новостями – со всей планеты. Некоторые, шустрые, – на часок, из другой галактики.
 Один профессор. В очках. С бородкой. С большим портфелем. Из института. Или – из «Карнавальной ночи».
 Танцевальный, бурно топочущий, разноритменный коллектив.
 Детский хор. Пионерские галстуки. Взгляды в зал. Приоткрытые рты.
 Нарядный ансамбль народной, задушевно звучащей музыки.
 Эстрадный ансамбль. С барабанами, трубами, саксофоном.
 Трио лихих, в лаптях, в поддёвочках, балалаечников.
 Гитарист. Семиструнной подружки энтузиаст, со стажем.
 Гармонист-виртуоз. Всерьёз наяривал. Инструмент свой рвал, как душу.
 Бывали моменты – заводил, доводил до слёз.
 Художественная, вполне в духе былой эпохи, самодеятельность дворца всеобщей советской культуры.
 Многие выступали в тот вечер на этой сцене.
 Отработав свой номер весёлый, эпизод из фильма, народом любимого, «Друг мой, Колька», бегал по коридору с удочками и пустым гремящим ведёрком в руках, корча всем без разбору, подряд, уморительнейшие рожи, прирождённый комик, актёр популярный, Савелий Крамаров.

Наконец, часа через два, объявили и Вознесенского.
 Всемирно известный поэт вышел на сцену стремительно.
 Подбоченился. Голову с ходу из плеч своих выставил, целясь вперёд и наискось, в зал.
 Она, голова его, выдвинулась, как перископ на подводной, всплывать собравшейся, лодке.
 Крепко, по-молодецки, для надёжности, упираясь в поверхность дощатую сцены сразу двумя широко расставленными ногами, стоя у всех на виду, в своём заграничном, свободном, клетчатом пиджаке, в пёстром, фигой завязанном шарфике, из-под ворота полураспахнутого рубашки светлой, на шее, поэт призывно взмахнул правой рукой и начал читать свои знаменитые, сросшиеся с успехом неизменным, «Сибирские бани»:
 – Бани! Бани! Двери – хл-л-лоп! Ба-а-бы пр-рыгают в сугроб! Прямо с пылу, прямо с жару! Н-ну и ну! Слабовато Ренуару до таких сибирских ню!..
 Ну и аплодисменты же он в тот вечер сорвал!
 Народ был – очень доволен.
 Бабы! Пахло клубничкой.
 Наши бабы. Ядрёные Крепкие.
 Сибирские. Кровь с молоком.

Не то что какая-то хлипкая ренуарья порода бабская!
 Нашенское, отечественное – самое лучшее, факт.
 Наша баба – лучшая баба.
 Советские бабы – самые лучшие в мире бабы.
 Советское – значит, отличное.
 Бабы – во! Бабы – ну и ну!
 – Ну и ну! – говорили в зале. – Здорово! Bravo! Бабы!

Актёр, популярный в народе, комик Савелий Крамаров, стоя на заднем плане, за кулисами, но с расчётом, несомненным, лукавым, так, что его прекраснейшим образом, отовсюду, видели зрители, без усталости, как заведённый, строил смешные рожи, пустым ведёрком помахивал и салютовал Вознесенскому своими длинными удочками.

Довольный поэт откланялся и степенно покинул сцену.

Аима Борисов был очень доволен. Всякого здесь он, бывавший редко на подобных мероприятиях, а может, что вероятно, сроду на них не бывавший ранее, насмотрелся.

Весело, с пользой, с толком, (ежели помнить о юморе, красной нитью прошедшем сквозь весь абсурдный отчасти, отчасти же стандартный, времён хрущёвских, и покоренья космоса, и ожиданья светлого будущего, для всех, через двадцать каких-то лет, рядовой советский концерт, плановый, наверняка, для москвичей и гостей, вроде меня, столицы, для галочки в чьём-то отчёте, для подъёма духа сограждан, в январе, морозном и снежном, для того, чтобы людям поднять настроение, без алкоголя, чтоб отвлечь их от быта, что ли, чтобы праздником зимним повеяло во дворце культуры и даже там, за дверью дубовой, на улице, где хрустел снежок под ногами, завихрялся у фонарей, уносился к высоким звёздам и куда-то ещё, подальше, до весны), провёл вечерок.

И потом, через годы, ставшие непростыми для нас обоих, иногда он, под настроение, вспоминал, бывало, и Крамарова, с его ведёрком и удочками, и огромный успех имевшего у публики Вознесенского, с его сибирскими бабами.

Вскоре я вновь уехал на родину, в Кривой Рог.

А возвратился в Москву – через полгода, летом, поступать в университет.

Коля Мишин, герой натуральный уникального нашего времени, развесёлый, сметливый парень, будущий храбрый смогист и человек-театр, лично знакомый с Феллини, прислал мне весьма таинственную, озадачившую начальство отделения местного связи, милицию криворожскую, чиновников из горкома, а также райкома партии, передовых оглоедов из горкома, а также райкома комсомола, и, в завершение эпопеи почтовой, смущённую, растерянную почтальоншу, фантастическую, не иначе, из Лема или из Свифта вряд ли, но очень мишинскую, без аналогов, телеграмму: «Приземляюсь куполами соборов ленинские горы», вслед за которой пришло выдержанное отчасти в таком же духе, но более внятное и обстоятельное письмо, в котором Лукьяныч, он же Коля Мишин, поэт, на заре своей бурной жизни, излагал мне свою идею реального поступления в МГУ, на искусствоведческое отделение исторического факультета, по той причине, что там иностранный язык на вступительных, всех страшащих, экзаменах, не сдают, и предлагал мне всерьёз вместе с ним поступать туда, поскольку все остальные экзамены, сколько бы их ни было, мы с ним без всякого сомнения одолеем.

И внял я его призывам, и приехал в Москву, поступать на заманчивое отделение, и, сдав на ура, на отлично, все экзамены, был зачислен, принят в университет, становился уже студентом столичным, почти москвичом, и лето, с пылом и с жаром своим, к завершению шло, и впереди у меня была моя новая осень.

Но до осени в жарком, с нервами напряжёнными, с тревожностями неминуемыми, да и с прочим, длинным перечнем не желающим оставаться надолго в памяти, многозначном столичном августе, когда я сдавал экзамены в самый лучший университет, как считал я, и все вокруг так считали, и это правда, потому что всё так и было, надо было ещё дожить.

И тут опять в моей жизни появился поэт Вознесенский, но только не сам он, лично, весь, как есть, а его книга.

Обувь моя изнашивалась. По этой причине мне надо было купить себе туфли. Для этого мама заранее выдала мне деньги – впереди ведь была осень!

Встретился я с Колей Мишиным в центре. Намеревался вместе с ним зайти в магазин и выбрать, если удастся найти что-нибудь подходящее, ежели мне повезёт, простую, недорогую, удобную, прочную обувь.

Коля, думал я, человек сноровистый и практичный, в отличие от меня, и в такой непростой ситуации, как покупка надёжной обуви, тем более, выбор её заведомо невелик, несмотря на избыток всяческих, огромных, просто больших и совсем незаметных, крохотных, скромных, простых магазинов, но таких, что стоят всех, оптом, остальных магазинов столичных, может быть очень полезен.

Однако туфли тогда так я и не купил.

Практичный, полный решимости помочь мне в походе за обувью и выборе таковой, если найдём, конечно, где-нибудь её, Коля Мишин вдруг замедлил свой быстрый шаг возле книжного магазина, как говорили обычно москвичи меж собою, сотого, большого, на улице Горького.

В двери этого магазина с улицы устремлялась непрерывная череда взбудораженных чем-то граждан, а обратно из двери на улицу с довольным видом просачивалась другая совсем череда, причём, что бросалось в глаза, в руке буквально у каждого из вырвавшихся на волю из толкотни людской, распаренных, но довольных победой одержанной, граждан, приводящих себя в порядок и вдыхающих с удовольствием относительно свежий воздух на столичных стогнах, была новёхонькая, как игрушечка, в упаковке занятой, то есть в броской суперобложке, даже на расстоянии пахнущая типографскими неповторимыми запахами, не толстенная и не маленькая, а такая, как надо, компактная, удобная, плотная книга.

Мишин сделал боксёрскую стойку и сказал:

– Это антимирь!

– Какие ещё антимирь? – удивился я. – Где? Откуда?

– Новая книга! Новая! Вознесенского! Новая книга! Понимаешь? – воскликнул Мишин. – Видишь, она уже вышла. Покупают её сейчас. Называется – «Антимирь».

Я спросил его:

– Ну и что?

– Как это – что? – возмутился, всюю заводясь, Мишин. – Я знаю: это судьба!

– Странно ты, Коля, ведёшь себя! – сказал я ему озадаченно.
 – Ничего тут странного нет, Володя! – воскликнул Мишин. – Наоборот. Всё нормально. Всё идёт сегодня, как надо. Всё так и должно было быть.
 Пришлось развести руками:
 – Ничего я не понимаю!
 – Скоро поймёшь, – сказал Мишин. – «Антимиры»!
 Пришлось потребовать мне:
 – Выражайся яснее, Коля!
 – Выражаюсь. Куда уж яснее! – сказал поспокойнее Мишин. – Слушай меня. У тебя сейчас деньги на туфли есть? Есть. Давай их сюда.
 Я спросил резонно:
 – Зачем?
 – Скоро узнаешь сам. Не волнуйся, все будут целы. Ещё и прибыль для нас обязательно образуется! Давай поскорее деньги!
 Я достал из кармана отложенные на туфли тридцать рублей.
 Отдал их Коле Мишину.
 – А теперь пойдём-ка со мной! – сказал повелительно Мишин.
 Бок о бок с ним, превратившимся в настоящий таран, я втиснулся в едва различимый просвет меж чередой выходящих на улицу из магазина и чередой входящих с улицы в магазин возбуждённых, взъерошенных граждан.

В магазине Мишин спокойно, как ни в чём не бывало, плавно, высоко приподнявшись в воздух и сжимая крепко при этом в кулаке мои тридцать рублей, описал в тесноватом пространстве, в положении вертикальном, а никак не горизонтальном, эффектной дугу – и оказался уже не там, где только что был, но почему-то вдали, впереди, самым первым у кассы, в которую все платили деньги, взамен получая узкие серые чеки, для получения книг желанных, в одном из отделов, и куда терпеливо стоял длиннющий, петлистый хвост граждан, жаждущих страстно книгу приобрести.

Приземлившись у кассы, Мишин отодвинул небрежно локтем толпящихся рядом граждан, почему-то, вот уж загадка, и не думавших возмущаться и безропотно, даже охотно, позволивших человеку, прилетевшему сверху откуда-то, возможно, из антимиров, а может, из облаков, или по спецзаданию какому-то, кто его знает, кто его там разберёт, если сверху – так значит сверху, и никак не снизу, как прочие, значит, можно, разрешено, есть приказ и печать, одобрено, всё в порядке, зелёная улица, постовые под козырёк, часовые в ружьё, командирам честь отдать, прилетел человек, свой, советский, чай не с луны он свалился, ведь сам приземлился, прибыл, слава героям, ура, молодым – им везде дорога, и тем более здесь, в магазине, – встать впереди всех.

– Девушка, – обратился Мишин к усталой кассирше. – Сколько стоят «Антимиры»?

Та ответила:

– Сорок копеек.

– На все! – протянул ей Мишин мои, для покупки обуви осенней, тридцать рублей.

– Зачем так много? – услышав такое от человека, прилетевшего к магазинной кассе, возможно, с небес, а может быть, и со звёзд, без всякого звездолёта, без всякого самолёта, да ещё и без парашюта, как говорится, своим ходом, или полётом, не знаешь ведь, как и сказать, что вообще говорить, увидев

такое чудо, как летающий Коля Мишин, в столице, среди бела дня, напротив себя, да вот он, потрогать можно, живой, настоящий, вовсе не сон, не бред совсем и не призрак никакой, удивилась кассирша.

– Полярники заказали! – веско, твёрдо, с достоинством, солидно, как подобает необычному человеку, гражданину подлунного мира, а не только советской страны, гражданину целой вселенной, коль на то уж пошло, пояснил, в роль войдя окончательно, Мишин. – Дрейфуют они во льдах. Скучно там до невозможности. Все книги в библиотеке давно уже перечитали. С большой землёй постоянную связь далеко не всегда, только изредка, по расписанию, по часам, поддерживать можно. Голод у наших людей, книжный. Новинки требуют. А я вот как раз в Москве, ненадолго, в командировке. Прямо с Новой Земли, представляете, с холодного, снежного острова. Вначале пешком, потом на собаках, потом на оленях, а потом тремя самолётами к вам сюда добирался. Смотрю – а у вас, пожалуйста, вот они, «Антимиры». Ну, думаю, надо порадовать верных своих товарищей на севере, грустно им там, пусть почитают свежатинку, душой отойдут в снегах, сердца согреют замёрзшие новым русским печатным словом. Вот и беру. На все!

– Понятно! – сказала кассирша. – Привет советским полярникам! – и выбила нужный чек.

Мишин, взяв чек, опять плавно взлетел на воздух, спланировал у прилавка и там, не взглянув и вполглаза на очередь, получил на руки невероятное, можно сказать, несметное количество экземпляров свежих «Антимиров».

– Как мы тащить их будем? – озадаченно, толком ещё ничегошеньки не понимая, спросил я лучшего друга, Николая Лукьяныча Мишина. – И зачем же нам столько этого, как сказать бы помягче, добра?

– Дотащим, – сказал мне Мишин. – А добро это скоро нам, ты увидишь сам, пригодится.

Он, как фокусник, помахал, влево, вправо, рукой – и вытащил, даже не нагибаясь, откуда-то из-под прилавка широкий моток бечёвки, не просто быстро, но как-то, сказал бы я, молниеносно, проявив при этом умение вовсе не дилетантское, умение удивительное, профессиональное, высшего класса, или разряда, или ранга, поди догадайся, где учился он, обмотал этой бечёвкой книги, разделив их на несколько стопок.

Загрузил меня этими стопками.

А потом и сам загрузился.

Со своей тяжёлою ношей мы выбрались из магазина на шумную улицу Горького.

– Идём! – сказал Коля Мишин. – За мной, Володя! Вперёд!

– Куда? – спросил я, выглядывая из-за стопок новеньких книг, которые надо мне было умудриться каким-то образом, ни одной из них не роняя по пути, на весу удерживать.

– Скоро узнаешь! – сказал мне, кивнув дружелюбно, Мишин.

И он, человек летающий, но иногда и шагающий по родимой земле советской, лихо помаршировал напрямик вверх по улице Горького, и я – вслед за ним зашагал, держа на весу здоровенную, с головой меня чуть ли не скрывающую, отдавившую плечи гору закупленных Мишиным книг.

Установился Мишин возле кафе «Молодёжное».

И сказал мне кратко:

– Заходим!

Я сказал:

– Ведь у нас нет денег!

Мишин сказал, как отрезал:

– Ничего. Всё сейчас образуется.

Мы зашли с ним вдвоём в кафе.

Поскольку был день, а не вечер, то посетителей там оказалось ничтожно мало.

Мишин сразу же занял столик у большого окна, выходящего прямо на улицу Горького.

– Девушка, – обратился он к подошедшей официантке, – нам два пунша и два кофе.

Сухопарая официантка, покосившись на книги, которые притащили сюда мы с собою, принесла нам Колин заказ.

Мы с Мишиным стали потягивать пунш через соломинки.

Стопки «Антимиров», закупленных оптом, лежали на полу, рядом с нашим столиком, внушительной, пахнущей острой, спиртовой типографской краской, неподвижной, пока что, грудой.

Мишин спокойно взял одну, всего-навсего, книжку и поставил её на широкий подоконник, плотней прислонив к стеклу оконному, так, чтобы обложка с улицы сразу была заметна.

Через десяток секунд к нам подбежал, запыхавшись, в кафе ворвавшийся с улицы взмыленный гражданин средних советских лет.

И с ходу спросил:

– Ребята, где брали «Антимиры»?

Коля ему ответил задумчиво и протяжно:

– Там, где брали, больше их нет!

Гражданин покосился на груды книг возле нашего столика.

И робко спросил:

– А вы, ребята, не продадите?

Мишин сказал:

– Посмотрим!

И лукаво сощурил глаза.

Гражданин помялся и тихо шепнул ему:

– Мне одну!

Мишин сказал:

– Всего-то? Можем, пожалуй, продать!

– Сколько? – быстро спросил гражданин.

– Рупь! – ответил немедленно Мишин.

Гражданин, благодарно глядя на спокойного Колю Мишина, возликовал:

– Беру!

Он положил свой рубль на столик, жадно схватил выданную ему Колей Мишиным свежую книгу и, прижимая её к груди, вне себя от счастья, выбежал из кафе.

В это время за нашими спинами раздался неровный гул.

Я оглянулся. Это монотонно и нервно гудела вроде бы небольшая, но, мгновение за мгновением, разрастающаяся толпа.

Из неё раздались вопросы:

– Где купили?

– Когда купили?

– Лишней книжки у вас не найдётся?

– Экземплярчик не продадите?

Коля намётанным глазом посмотрел на толпу, которую лихорадило от возбуждения, потом на «Антимиры», потом отсчитал десяток экземпляров и отложил их в сторонку, поближе к себе, подальше от остальных.

На все прочие экземпляры указал он толпе взбудораженной и сказал очень строго и твёрдо:

– По рублю. Братва, налетай!

Через минуту груды «Антимиров» не было.

Вместо неё на столике перед нами лежала стопка слегка измятых рублей.

В сторонке скромно лежали отложенные заранее рассудительным Колей Мишиным десять, всего, экземпляров книги, остаток недавнего буйного изобилия.

Но тут за нашими спинами образовалось некое завихрение, и подлетел к нам интеллигентного вида юноша, хилый, в очках.

– Не продадите? – спросил он, показывая на стоящую на подоконнике книжку.

Мишин сказал:

– Пятёрка!

Юноша вынул пятёрку, положил аккуратно на столик, обнял книжку и удалился.

Мишин спокойно, с видом счетовода или бухгалтера, но, вместе с тем, и тщательно, трижды пересчитал деньги, образовавшиеся буквально из ничего, если и не из воздуха, то уж точно из антимиров, из книг, им закупленных впрок, из его фантастических действий.

– Всё, Володя! – сказал он мне весело. – Жить можно. И даже нужно. Вот, возвращаю тебе твои тридцать рублей, на туфли. На всё остальное – сегодня не грех нам и погулять!

И мы посидели с Мишиным в кафе. А потом куда-то дальше переместились в пространстве, всем нам распахнутом в ту пору, когда мы были так молоды, что не думали, – ещё не успели просто как следует поразмыслить, ещё не хотели, видимо, заранее огорчаться, ещё не умели, может быть, предвидеть всё то, что будет со всеми нами в грядущем, зовущем и жертвы ждущем, – о времени, сквозь которое пройти нам придётся вскоре, чтоб слышать в небесном хоре то реквием, то величание, чтоб встречу сменяло прощание, а прощание новую встречу вызывало из яви, замечу, не совсем реальной, с астральным, жалящим исподволь, отсветом, с мистическим ясным отзвуком, с призывом смутным боли, с присутствием доли и воли в мире, где всё же есть о благодати весть.

С антимирами, в книжном варианте их, в виде груды свежеизданных книг, закупленных и розданных множеству жаждущих приобщиться как можно скорее к стихотворному, наиновейшему печатному русскому слову, небезвозмездно, конечно, человеком сметливым, практичным, летающим, ежели этого требуют обстоятельства, и всегда, заметьте, всегда приземляющимся, вопреки всем преградам и мелким частностям нашей, скучной весьма, повседневности, именно там, где надо, в нужный год, в нужный час, в нужный миг, всемогущим, в жанре своём, театральном, с игрой блестящей, с режиссурой, всегда новаторской, скромным жителем городка подмосковного, тихого Климовска, в недалёком прошлом учащимся ремесленного училища, ныне абитуриентом, поступающим в МГУ, поэтом, смогистом будущим, потрясающим всю Москву

приключениями своими, фантастическим Колей Мишиным, наконец-то расстались мы так быстро, как это бывает, наверное, только в сказке, если сказку такую придумает не кто-нибудь там посторонний, но лишь один человек на свете, конкретно – Мишин.

Десяток оставшихся книг нести было проще, нежели здоровенную – прежнюю – грудку.

Книги я разделил пополам.

Пять штук отдал Коле Мишину.

Пять своих – положил в сумку.

И шли мы куда-то вперёд с другом Колей, вначале под солнышком, августовским, горячим, потом при свете горящих на каждом шагу огней, в центре столицы, вдвоём, ни секунды не сомневаясь в том, что в университет мы поступим с ним обязательно.

Свежеизданные четыре экземпляра «Антимиров» я отправил вскоре по почте бандеролями, вместе с письмами криворожским своим друзьям.

Один экземпляр – оставил себе. Он потом потерялся.

Но история с Вознесенским, не человеком, а книгой, на этом не завершается.

На вступительных, непростых, с напряжением нервным, экзаменах Коля Мишин, с загадочным видом, будто делал он, от щедрот своих, величайшее одолжение, дарил всем экзаменаторам, по очереди, разумно, без ненужного перебора, по экземпляру свеженьких, новёхоньких «Антимиров».

И все – брали их. С удовольствием.

И Мишину, человеку общительному, обаятельному, с достоинствами своими, перечень коих велик, но, если честно, не очень-то подкованному в науках, делали, может, на радостях, оттого, что стали нежданно, как-то вдруг, ни с того ни с сего, на рабочих местах своих, обладателями свежайшей, не достать ведь нигде, новой книги знаменитейшего поэта, откровенные, от души, как-то мягко, по-свойски, поблажки.

И это ему помогло сдать экзамены благополучно и поступить в МГУ.

И я поступил, без всяких даров и чьих-то поблажек. Просто – все экзамены сдал, как и следовало, на отлично.

И нас обоих – зачислили.

Был, правда, один казус.

Так себе, незначительный, в общем-то. Но – характерный.

Когда был вывешен список зачисленных на отделение наше, искусствоведческое, мою фамилию в нём увидели мы немедленно. Была она в списке – первой.

А вот фамилии Мишина поначалу там вовсе не было.

В списке, из тридцати фамилий, по алфавиту, почему-то значилось: Мишман Николай Лукьянович. Бред!

То есть имя и отчество в списке, без сомнения, были Колины, а фамилию вот – подменили.

Во мгновение ока Мишин, возмущённый явной нелепостью, восстановил справедливость.

Потому что чёрным по белому напечатано в списке – читаем – Николай Лукьянович – кто это? Это он. Это Ми-шин. Мишин! Поступивший в университет.

А не какой-то там ненужный, неведомый Мишман.

Сотрудницы кафедры, сплошь растерянные, смущённые, тут же, прямо при Мишине, оплошность свою исправили.

Заработались. Утомились.

Опечатка – случайно – вышла.

Ничего. Всё теперь в порядке.

Всё отныне в полном порядке.

Волноваться больше не надо.

Поступил – действительно Мишин.

Никакого такого Мишмана больше нет. Это был фантом.

Есть в реальности, есть и в списке – вот, пожалуйста, – только Мишин!

И Коля тогда, на радостях, подарил сотрудницам кафедры искусствоведения, одну – на всех, от щедрот своих, пусть по очереди читают! – последнюю, остававшуюся в его, личной, мишинской, собственности, книгу, слегка потёртую, затасканную, Вознесенского.

И долго потом стоял у списка сдавших экзамены и зачисленных в МГУ, любуясь в нём на свою, правильную, фамилию.

Мишман – это из антимиров.

В мире нашем – есть только Мишин!..

Ас Вознесенским не стал я больше видеться. Так уж решил я.

Не было в этом смысла.

Человек он, так я считаю, талантливый, даже очень.

Но – я это всегда говорю – смотря как распорядится человек талантом своим.

Эх, если бы не его пижонство неистребимое, да ещё кое-что, не очень-то приятное! – продолжать, при желании, можно, конечно, и мне, и другим, – да зачем?

Не статью ведь пишу сейчас.

Пусть кумекают и гадают, поскольку так им положено, по их это части, вроде бы, литературоведы.

Летом, когда поступал в МГУ, и в начале осени – несколько раз позвонил я, всё-таки, Вознесенскому.

Он сказал мне тогда:

– В МГУ, к вам, Володя, на искусствоведение, поступил Кублановский, Юра. Талантливый парень. Из Рыбинска. Он в вашей, конечно, группе. Я помог ему. Обратился к Фёдорову-Давыдову, чтобы Юре он посодействовал, – мы как раз с ним в одном самолёте из-за границы летели. Юра очень меня просил помочь ему с поступлением. Я и помог. Познакомьтесь с ним обязательно. Может, подружитесь.

Разговор этот был, когда нас ещё только зачислили.

Я нашёл Кублановского. Юру.

Легко познакомился с ним.

Юра с ходу сказал мне, что он в МГУ поступил сам, полагаясь лишь на себя, на силы свои и знания. Вознесенский, мол, предлагал ему помощь свою, но Юра отказался. И вот – поступил.

Когда с первой ложью столкнёшься, толком ещё и не знаешь, что это именно ложь.

Ну, подумал я, это, наверное, Вознесенский для форсу загнул. Чтобы знали: он кое-что может. А вот Юра – какой молодец, отказался от помощи. Сам, без протекции, поступил.

На исходе восьмидесятых, когда журнал «Огонёк» был на гребне своей популярности, увидел я там короткое предисловие Вознесенского, врезку так называемую, к подборке стихов гонимого в минувшие годы властями советскими, за его незыблемые убеждения и деятельность диссидентскую, отбывшего в эмиграцию, а теперь, когда всё изменилось к лучшему в нашей стране, возвращающегося на родину, и своими стихами, и собственной, патриотичной персоной, моего сокурсника бывшего и соратника даже, по СМОГУ, Кублановского, – там говорилось напрямую, что было дело, в своё время помог он Кубу поступить в МГУ, а ещё говорилось, что мать Кублановского, работавшая не где-нибудь, а в горкоме партии Рыбинском, писала Андрею Андреевичу гневные, жёсткие письма, требуя ультимативно не сбивать её сына юного с истинного пути.

В конце девяностых, в книге Вознесенского, мемуарной, «На виртуальном ветру», прочитал я снова о том, что помог он в шестидесятых поступить Кублановскому Юре, поэту, в московский вуз, только память, увы, подвела слегка постаревшего мэтра, многожды лауреата всяческих литературных премий, земных, в основном, но, может, в числе их были и другие, из антимиров, многожды академика всяческих академий, и он МГУ перепутал с институтом педагогическим. Ничего, бывает. Исправим оговорку эту невольную.

Это Юдахин Саша учился в педагогическом. С помощью ли какой-то, без таковой ли вовсе, но учился, и благополучно закончил свой институт.

Аберрация памяти, так иногда сейчас говорят.

И всё-таки пробудился юмор у Вознесенского – и обозвал он, в лоб, не удержавшись, видимо, героя из диссидентов и страдальца из стихотворцев, эмигранта и патриота, Юру, по прозвищу Куб – а знатоки утверждают, что есть у него в Москве и совсем другие кликухи, кроме всем известной, «Кубло», в тех кругах, где вращается он, всё вращается, крутится, вертится, превратившийся в функционера заурядного, вроде советских, ненавидимых им когда-то, но не лучше их ни на йоту, а ещё и похуже, что делать, сам назвался груздем и сам лез и лез в пресловутый кузов, или, может, ещё куда, не в звериное ли кубло, ну, тогда поминай как звали, там любому не до стихов, там свои порядки и правила, что-то всем там ума поубавило, если был вообще этот ум у кого-нибудь из какбывременной кодлы, стаи, банды, команды, не говоря уж о всяких дарованиях и талантах, – матёрым, ни больше, ни меньше, вот слово действительно точное, прорвавшееся сквозь хаос нынешний, литератором.

Вот уж, как говорят в народе, не в бровь, а в глаз.

Сказал, точно припечатал.

Или так ещё: пропечатал.

Так проще. Резче. Доходчивее.

Лаконично, всего в два слова.

И образно, надо заметить.

С присущим ему, Вознесенскому, тяготением к парадоксам и негладким обобщениям.

Иногда я вижу его, Вознесенского, знаменитого и прославленного во всех странах шара земного, поэта, в ПЕН-клубе, куда, при случае, изредка, потому что живу в основном в Коктебеле и в Москве бываю зимой, да и то не

всегда, заглядываю, – например, на собрание общее, на которое всех зовут, или на вечер, похоже, ставший традиционным, предновогодний, домашний почти, в основном для своих.

Он сидит, неподвижный, седой, постаревший очень, обрюзгший.

На губах его то ли улыбка, то ли так, непонятно что.

Молчит. Никого, ничего вокруг – не видит, не слышит.

Я с ним разок поздоровался – не слышит. Ну и не надо.

Во времена СМОГа по нему проходились охотно всяческие удалые смогисты, в своих доморощенных лозунгах и манифестах.

Может, с тех пор затаил он какие-нибудь обиды в душе, на кого – неизвестно? И таит их доселе? Не знаю.

Никаких манифестов и лозунгов я лично не сочинял.

И его никогда не клеймил.

Зачем? Не в моих это правилах.

Если надо – в глаза говорю человеку любому то, что о нём, человеке, думаю.

Кублановский – тот в прежние годы крыл его, с удовольствием явным, неизменным, в нашей компании, а сам – потихоньку ходил к нему, годами, общался с ним, и там, полагаю, совсем другое поэту пел.

Каждому, вот уж действительно, в жизни, где всё относительно, кроме совести человеческой, кроме чести, и правды, и грусти, и радости, и поэзии, и любви, и надежды, и веры, и всего вообще, из чего состоит эта жизнь, – своё.

Но деятельность неприличная некоторых смогистских псевдогероев-общественников, полагаю, наверняка его когда-то задела.

Может, с тех самых пор и отключился он от всего, что ему, поэту, существовать мешает?

Нет, конечно же! – знатоки тут же встрянут. Но – кто его знает!

Человек весь в себе. Он теперь генерал. Он давно генерал. Даже больше. Давно уже – маршал.

Он везде. Там, где премии нынешние раздают (по жребии, что ли?). На тусовках. На презентациях.

Иногда стихи его вижу я, новые, междувременные, их обычно на целую полосу дают, от щедрот газетных, а то и на разворот, с размахом, в том самом «Московском комсомольце», где работал так долго Аронов, автор песни неуязвимой «Иметь или не иметь», где работает, вроде бы, точно я не помню, Мнацаканян, друг поэта покойного Шлёнского, автора строчки, похожей на деталь из вечного двигателя, «колёса, колёса, колёса», или, может, уже не работает, а работает где-нибудь, ну, допустим, в «Литературке», потому что работать следует всем и каждому в мире этом, и колёса зримые вертятся, с ними вертятся и незримые, вместе с битовским «Колесом», вместе с гоголевским, известным всем на свете, из «Мёртвых душ», вместе с давним ещё, платоновским, паровозным, деповским, едущим к Чевенгуру и в котлован, и с троллейбусным, окуджавским, по Москве сквозь рассвет плывущим, и с любым, вообще, колесом, если звук его невесом, словно призрак или фантом, если образ его, на потом, укатиться стремится в даль, где ищи-свищи, вот печаль, человека, днём, с фонарём, даже с лучшим поводырём, уводящим вас в небеса, – нет покоя без колеса, нет покоя и с колесом, кроет ночь козырным тузом всех, кто исподволь шестерят, и костры вдалеке горят – там, наверно, колёса жгут, там вершат, видно, Страшный суд, там готовят страшную месть,

взяв из Гоголя эту весть, позаимствовав сто колёс, чтоб решить им большой вопрос: есть ли жизнь на Марсе? – увы, вся она – посреди Москвы.

Постоянно вижу его, Вознесенского, по телевизору. Как включишь – так Вознесенский. Молчит. Смотрит в дальнюю точку. Седой. Одного только Битова, пожалуй, из всех литераторов, так же часто людям показывают. Потому-то и получается у них, героев экрана, по-ударному, не по-стахановски, да куда там, бери повыше, в космических, по масштабности, виртуальных, по необходимости, визуальных, самых удобных, по доходчивости всегдашней, при приемлемости, зрочком человеческим, нужных ритмах, работа на пере-сменку. Включишь ящик разок, наобум, – пожалуйста, вон он, Битов, сидит, как седой азиат, с караваном своим по Великому шёлковому пути прошедший от Петербурга до Бухары и обратно в Петербург, с заездом в Москву или с выездом за границу, в неизвестные нам, землянам, россиянам нынешним, бывшим просто русскими в годы былые, благодатные, дивные страны, глядит в объектив телекамеры, заглядывая в Зазеркалье, о чём-то мудрёном, таком, в чём сам заплутать способен без нити спасительной, вовремя протянутой Ариадной, его теперешней Музой, заступницей верной, вещает, – включишь ещё разок – вот он стоит, Вознесенский, в шарфике, сложенном кукишем, улыбается и молчит, потом – вещающий Битов, следом за ним – Вознесенский молчащий, друг дружку сменяют, друг за другом исправно мелькают. А иногда их и вместе показывают. Бывает. Важные птицы, право! Генералы. А может, и маршалы.

И матёрому литератору, новоявленному, Кублановскому, – ох как до них далеко!..

Однажды, в том же ПЕН-клубе, в центре Москвы, сижу я на встрече предновогодней ПЕН-клубовцев – и скучаю.

Я не пью. Все вокруг – пьют и давятся бутербродами, на халяву.

Рядом со мной сидит разжиревший, с мешками лиловыми под глазами, с носом разбухшим, хулиганами подмосковными когда-то сдвинутым набок и не слишком удачно выпрямленным, с животом восточного хана, с изуверской улыбочкой хама, с бутербродными липкими крошками на покато плече эгоиста, карьериста, (в прошлом – смогиста, как ни странно), с бутылкой вина, со стола по привычке прихваченной, под мышкой, с полным стаканом в правой руке, а в левой – с недоеденным, по причине болтовни своей, бутербродом, в пиджаке заграничном, в штанах заграничных, в ботинках фирменных, с бородёнкой седой, Кублановский.

Рядом с ним – элегантная Зоя Богуславская, всем известная писательница, супруга вернейшая Вознесенского.

За нею – сам Вознесенский.

Куб, к дармовому питью основательно приложившийся, с Богуславской, воспитанной, вежливой, оживлённо, как в баре пивном посреди бесчатья, болтает, никого вокруг не стесняясь, не стесняясь меня совершенно, при мне поливая грязью нашего друга общего, чудесного Диму Борисова, называя его, человека достойнейшего, светлейшего, представьте себе, раздолбаем, (словцо это я смягчил, Куб выражался – матерно).

Богуславская слушает Куба, вроде бы, очень внимательно.

Я смотрю на Куба не просто с возмущением, но и с ужасом, и толкаю локтем его в бок: что ты мелешь, мол, праведник липовый, жуткий страдалец,

согласно твоей мифологии, и в своём ли ты нынче уме, и не стыдно ли, боров жирный, эмигрант, возвращенец, начальник, солженицынский прихвостень старый, интриган и завистник, тебе? – а литератор матёрый, заматеревший так, что обомшел окончательно, корнями корявыми врос в подмосковную почву скудную, переделкинскую, лесную, литераторскую, махровую, как говорится в народе пронизательном, ноль внимания, и всё продолжает что-то неприличное, непотребное, не обращая, конечно, на меня никакого внимания, слушая только себя, любимого, заливать.

Вознесенский сидит, с неподвижным лицом, с улыбочкой вынужденной, неизвестно кому адресованной, в метре всего от меня.

И не видит меня. Вообще никого из людей вокруг, ничегошеньки просто, не видит.

Лишь присутствует. Или – отсутствует.

Где – неведомо. Весь в себе.

Я не вижу его, Вознесенского, рядом с ним давно находясь.

Куб не видит его, а видит почему-то лишь Богуславскую. Вознесенский не видит Куба.

Вокруг спешат поскорее да побольше, само собою, выпить и закусить гуляющие за счёт столичного заведения перед Новым годом, ПЕН-клубовцы.

Антимиры. Похоже.

Боже, ну и картина!

В углу, стыдливо задвинутый подальше от глаз нехороших, смотрит на дикое сборище властителей дум человеческих Андрей Платонов, изваянный из дерева другом его, покойным Федотом Сучковым, и подаренный кем-то ПЕН-клубу.

Генрих Сапгир, тогда живой ещё, под хмельком, вспоминает что-то своё, из старого, из псалмов, про сборище нечестивых.

Бесенятами, глупо хихикая, с ужимками обезьяньими, влетают с улицы в комнату и бросаются с ходу к столу халявному вроде бы модные нынче поэты, Лёва Рубинштейн, с авангардным, наверное, меланхоличным носом, глядящим на запад, в соплях, и Тимур Кибиров, фамилия которого, настоящая, как сказали мне люди, знающие, что почём, кто есть кто, на деле, без каких-то там псевдонимов или мифов, просто Запоев, с улыбочкой, маслом смазанной, напоказ, любителя жареного, подпрыгивая на месте, взлетая вверх, кувыркаясь в прокуренном воздухе комнаты, друг дружку игриво хлопая, на лету, на ходу, по задницам.

Где ты, Миша Деза, со своим восклицанием, всех шокировавшем когда-то, по этому поводу, обращённым к пьяному вусмерть дружку твоему загадочному, кудрявенькому Аронову?

Сквозняком вдувает сюда работного беса Пригова, состоящего в основном из оскаленного однажды, для пробы, для новой эстетики, да так навсегда и застывшего в оскале этом, привычном и удобном, наверное, черепа.

Игорь Сергеевич Холин, тоже ещё живой в ту пору, седой, прямой, сидит по другую сторону от меня, подмечая штрихи и детали всеобщего бреда, молчит, очками сверкая, и всё про себя констатирует.

Кублановский всё распинается, неизвестно зачем, перед слушательницей терпеливой его, Богуславской.

Вознесенский сидит и молчит.

Я встаю. Ухожу отсюда.

Ну и жизнь на московских холмах!

Третий Рим! Имитация встреч, вечеров, тусовок, бесед, общих и частных собраний.

Босх. Булгаков. Гоголь. Щедрин.

Сон? А может быть, наваждение?

Вознесенский за Кублановским, Кублановский за Вознесенским в Переделкино улетают.

Надо же – Пастернак весь пейзаж там давно уже выпил, как заметил с горечью Битов.

Что осталось там для Кублановского?

Вознесенский – тот весь в себе.

Вещь в себе. Или – весть в себе.

(Страсть, и власть, и напасть – в себе?)

Куб страдает, психует, бедняга:

опоздал, не дорвался до блага!

Что удержит от ложного шага?

Только речь. Только верность судьбе.

2

... Однажды, в студёную пору зимнюю, по Некрасову, из хрестоматии школьной, где мужичка с ноготок встретил, из лесу выйдя, в сильный мороз, поэт, или попросту в зимнюю пору, московскую, с белым снегом за синим замёрзшим окном, в январе шестьдесят пятого, ещё до рождения СМОГа, сидели мы, помню, втроём – я, Лёня Губанов, не пьяный, но и не очень-то трезвый, так себе, не поймёшь, серединка на половинку, и жизнью вполне довольный, улыбочивый Коля Мишин, – у меня, в коммунальной, ставшей, за прошедшие несколько месяцев жизни моей студенческой, моим надёжным пристанищем, а также приютом для некоторых друзей моих, славной комнате на Автозаводской улице.

Я тогда ещё обитал там.

В университетское, тошнотворное общежитие пришлось перебраться мне чуть позднее, уже в феврале.

Жильё отдельное, собственное, пусть и временное, в Москве – это многое в те времена молодые, поверьте мне, значило.

Пусть была это заурядная, просто-напросто, коммуналка, но с соседями был я в ладах, знал их ещё с моей первой московской, незабываемой осени шестьдесят третьего года, старался вести себя здесь прилично, да и они ко мне относились, вроде, с добром.

Комната эта, в доме, расположенном в глубине сразу нескольких, в меру просторных и почти безлюдных дворов, так удачно, что шум с оставшейся в стороне, заполненной транспортом и народом, к метро спешащим или, наоборот, расходящимся, разъезжающимся от метро, немного провинциальной с виду, с запущенным сквером посередине, улицы не доносился сюда, где прямо перед широким, во всю стену, двойным окном поднимались большие деревья, а на карниз то и дело прилетали целыми стаями подкармливаемые мною городские ленивые голуби, а прошедшей осенью к стёклам прилипали мокрые, сорванные налетевшим ветром с ветвей, листья жёлтые, и потом, незаметно совсем, пришла зима, да ещё и с изрядными, знать дающими о себе непрерывно, везде, морозами, которые, вот уж досада, особенно часто чувствуешь, когда пальто у тебя слишком лёгкое, вовсе не зимнее, да и другая

одежда больше, пожалуй, годится для жизни на Украине, чем для этой вот, нынешней, новой, оказывается, холодной, на московских просторах, зимы, и для жизни, странной, заманчивой, молодой, интересной, радостной, в эту пору года холодную, – комната эта, по счастью, тёплая и вполне, как выяснилось, уютная – для меня в то время была именно тем историческим, как теперь считается, местом, где, начиная с минувшего, всем нам памятного, сентября, крепла моя идея о содружестве нашем грядущем, где, собственно, по-настоящему и зародился СМОГ.

Были мы здесь втроём.

И уходить отсюда никуда я не собирался.

День ещё продолжался, но время неуклонно близилось к вечеру.

Замечал я, что Лёне Губанову, похоже, что-то неймётся.

Ему постоянно требовалось куда-то срываться с места, ехать в метро или плотно забитым людьми автобусом, туда, где ждали, порою терпеливо, долго, приезда гостей, потому что путь в районы эти окраинные оказывался неблизким, ему общение было необходимо именно как воздух, для энергетической подпитки, вполне возможно.

Вот я и видел, что он уже мается, начинает томиться временным даже, для него ненужным, спокойствием.

«Наверное, скоро ему в голову что-то придёт из ряда вон выходящее», – подумал я. И невольно сразу же насторожился.

И точно. Чутьё меня и на сей раз не подвело.

Губанов, порывшись в карманах, нашёл измятую пачку сигарет и коробку спичек, достал сигарету из пачки, повертел её в длинных пальцах, размял, потом закурил.

Нос его хулиганский вдруг заострился. Ноздри начали раздуваться.

Лицо его как-то вытянулось и негаданно побледнело.

Глаза его, с увеличившимися, угольными зрачками, уставились прямо в стену, в одну, лишь им различимую на плоскости ровной, точку.

Губы его, припухшие, искусанные, шевелились.

Ямочка на подбородке подрагивала, становясь похожей на шрам ножевой.

Голову он то вниз опускал, до уровня плеч, то высоко закидывал, и чёлка его при этих движениях шевелилась, и на лбу собирались морщины широкие, длинными складками, напоминая волны, поднятые налетевшим внезапно и всех заставшим врасплох, прохладным, напомнившим об осени, подходящей вплотную к песчаному берегу, свежим, как родниковая вода, морским ветерком.

Он курил, отрешась от всего, что вокруг находилось, рядом, от всего, что было на месте в этот зимний день, – и молчал.

И вот его, как случилось не единожды с ним, прорвало.

Нервно, демонстративно загасив свою сигарету, он обратился к нам с Мишиным.

Причём в его хрипловатом, но уже густеющем голосе моментально я различил хулиганистые, отчаянные, серебром звенящие нотки, что уже говорило о том, что Лёня понял, чего ему хочется, принял решение – и, похоже, намеревается изложить его вскорости нам.

Губановские капризы, его спонтанные действия – были уже привычными.

Что же будет на этот раз?

Губанов сразу же взял, по-мужицки, быка за рога.

– Сидим тут, сидим да сидим, – начал он свою речь на повышенных, приказных, командирских тонах, – время своё золотое зря совершенно тратим. Выпить бы на троих – денег на выпивку нет. В гости пойти бы – ни с кем не сообразили заранее договориться. Тоска!

Я спросил:

– Ты к чему это, Лёня?

– Пусть, пусть говорит! – заявил встрепенувшийся Коля Мишин.

– Я вот и говорю. Очень даже ясно, яснее не бывает уже, говорю! – сказал, как отрезал, Губанов. И прибавил, для веса: – Тоска!

– Мне, например, не скучно. И никакой тоски я вовсе не ощущаю, – сказал рассудительно я.

– Скучно, скучно, чего там! – живо поддержал Губанова тут же почувывший приближение чего-то весьма необычного Коля Мишин. – Тоска, да и только! Лёня правильно говорит.

– Кое-кто меня понимает, – продолжил Губанов и пристально, выразительно посмотрел на Мишина, а потом, с прищуром, и на меня. – А кое-кто и не очень, я вижу, меня понимает. Но сейчас, надеюсь, поймёт.

– Говори, говори, Лёня! – опять подыграл ему Мишин.

– Вот я и говорю, что скучно мы нынче живём! – подчеркнул специально Губанов. – Кто мы такие? Поэты. Мы с Алейниковым – вообще гениальные, нет нам равных. Да и ты, Коля, парень талантливый. В Москве все знают нас. Любят. Со многими современниками уже мы знакомы, и даже хорошо, я считаю, знакомы. Но с одним человеком ещё не знакомы. А с ним поскорее надо бы познакомиться. Он серьёзный. Как раз его-то мнение многое значит.

– Кто это, Лёня, кто? – нетерпеливо спросил, напрягаясь немедленно, Мишин.

– Кто же, и в самом деле? – проявил интерес и я.

– А я вам скажу сейчас, кто это! Не догадались? – Губанов здесь выдержал паузу, нарочно, и только потом, заранее предвкушая эффект от своих слов, сказал, как будто и просто, но, меж тем, с немалым значением: – Это, парни, сам Эренбург!

– Ну и что? – пожал я плечами. – Здесь нет ничего удивительного. Мало ли с кем ещё мы до сих пор не знакомы. В том числе и с весьма уважаемым всеми нами, «самим» Эренбургом.

– Почему это – «ну и что»? – возмутился, вскипев, Губанов. – Так нельзя. Непорядок. Хочу познакомиться с Эренбургом.

– Ты успокойся, Лёня! – сказал ему я тогда, терпеливо, спокойно, доходчиво. – Всем известно, что Эренбург – человек занятой. Даже очень. Так вот просто к нему не приедешь. Да и зачем он тебе, объясни-ка мне толком, понадобился? Ты что, вот с этого дня жить без него не можешь? Прекрасно ведь, преспокойно, без всяких страданий, обходишься. Тебе знакомых своих вполне, полагаю, хватает. И потом, согласишься, не фыркой, так уж и ждёт он тебя, если даже он и находится не где-нибудь за границей, в Париже своим любимом, например, или, может, в Нью-Йорке, или в...

Губанов даже обиделся.

Так вот всегда бывало.

Если ему приспичило, если задумал он что-нибудь, так вынь ему да положь.

И желательно – поскорее.

А лучше всего – без всяких проволочек, сию же секунду.

– Ни фиги себе! – протянул он, поморщившись, – ну и заявки! А я, Леонид Губанов, – тут он таким удалцом встрепенулся, плечи расправил, ногой принялся, настойчиво, нетерпеливо, притоптывать, – хочу, да, хочу познакомиться с Эренбургом. Имею право на знакомство. Желая этого. Немедленно. Прямо сейчас.

– Ну и желай себе, на здоровье! – сказал я. – Только, по-моему, всё это – самая обычная, Лёня, блажь.

– Ну, ты даёшь! – воскликнул Губанов. И, для подстраховки, обратился призывно к Мишину. – Нет, Коля, ты слышал? Слышал? Как тебе это нравится? Получается – блажь у меня! А я, гениальный поэт русский, – всего-то навсего повидаться хочу с Эренбургом.

Тут Мишин отчётливо понял, что пришёл его светлый час.

Авантюрная жилка его запульсировала, выиграла.

На губах его появилась характерная, непростая, предвещающая обычно приключений новых начало и чудесное их продолжение, вроде нынешних сериалов, только лучше намного, улыбочка.

И в глазах его тут же сверкнули развесёлые огоньки, и это всегда означало, что он включился в игру.

– Эренбург? – деловито спросил он Губанова. – Мысль хорошая. С Эренбургом пора познакомиться. Он человек толковый.

– А я о чём говорил? – моментально взбодрился Лёня. – Эренбург нам нужен, и всё тут.

– Нужен, так будет наш! – веско сказал ему Коля.

– Ну, так надо его повидать.

– Сделаем! – коротко бросил Мишин. – Какие проблемы? Запросто. Хоть сейчас.

– Но как? – тут даже Губанов опешил и озадачился.

Мишинский тон уверенный глубоко его поразил.

– Раз плюнуть! – сказал Коля Мишин. – Подумаешь, важность! Пара пустяков. Да просто – пустяк.

Он полез в карман пиджака. Порылся немного в нём.

Вытащил неторопливо замызганную записную книжку. Небрежно раскрыл её. Секунды три полистал.

– Так, – сказал он, почти по-военному, отрывисто. – Адрес есть. Улица Горького. Дом этот я хорошо знаю. Собирайтесь, да побыстрее. Вот прямо сейчас и поедем.

– Коля, ты думаешь, что говоришь? – спросил я его.

– Думаю! – отрубил Мишин. – И знаю, что делаю. Ну чего вы оба сидите? Собирайтесь. Время не ждёт.

Мы с Лёней переглянулись

«Ну, – подумал я, – снова мишинские истории начинаются. Не знает и впрямь угомону Коля, “ужасный рыжий мужичок”. Так ему и хочется выкинуть что-нибудь новенькое!..»

– Поехали, быстро, поехали! – поторапливал нас Мишин.

Сам он мигом надел пальто, напялил на голову шапку.

Мы с Лёней ещё разок переглянулись – и тоже надели поспешно пальто.

Причём, я успел заметить, что у Губанова тоже на губах появилась этакая боевая, с огнём, улыбочка.

В это время, как по заказу, в коридоре, за дверью, которую собирался я открывать, чтобы выйти всем нам из комнаты моей, зазвонил телефон.

– Володя, тебя! Иди! – позвала меня громко соседка.

Я вышел, уже одетый, чтобы идти на улицу, в пальто и в шапке, взял трубку.

Звонил Кублановский. Ему было скучно. Хотел он общения.

Не успел я толком, спокойно, чтобы Юра хоть что-нибудь понял, ничего ему объяснить, как в коридор из-за двери выглянул Коля Мишин.

– Кто звонит? – спросил он меня. – Куб, конечно? Дай-ка мне трубку. Скажу ему пару слов.

Протянул я Мишину трубку.

– Юра! – сказал солидно, командирским, поставленным голосом, чеканя каждую фразу и ритм соблюдая, Мишин. – Мы втроём – я, Володя и Лёня – прямо сейчас уезжаем к Эренбургу. Он ждёт нас. Да, ждёт. Очень хочет увидеться с нами. Сказал, чтобы срочно к нему, как можно скорей, приезжали. Мы уже собрались уходить, в пальто стоим. Ты случайно застал нас. Ещё минута – и мы, втроём, отвалили бы. Если хочешь, а ты, наверное, очень хочешь, я это чувствую, то и сам приезжай туда. Хочешь? Что? Повтори. Не слышу. Очень хочешь? Ну да, понятно! – Мишин, выдержав нужную паузу, нарочито громко вздохнул, а потом подмигнул нам с Губановым. – Вообще-то, Кубик, он ждёт именно нас троих. А про тебя ведь ему ничего мы не говорили. Что? Ты мечтаешь с ним увидеться? Страстно мечтаешь? Ну, так мало ли кто мечтает! Многие люди мечтают побывать, хоть один разок в жизни, у Эренбурга. Нет, наверное, ты оставайся там, откуда звонишь. А мы поедem. Пора. Нас ждут. Согласись, неудобно как-то брать с собой, к Эренбургу в гости, ещё одного человека. Что, что? Погромче скажи. Ты уже с ним однажды виделся, говоришь? Когда? Ах, из Рыбинска ещё приезжал? Понятно. Что? У тебя даже справка есть? Что за справка? Так, так. Он сам тебе её выдал? Ну, это совсем другое дело, Куб. Если справка, выданная Эренбургом, имеется у тебя, то, пожалуйста, и ты к нему тоже тогда приезжай. Мы скажем Илье Григорьевичу, что ты тоже наш, да ещё и со справкой. Адрес ты знаешь? Что? Записная книжка твоя осталась в общаге? Ну, тогда бери авторучку и хоть на ладони записывай! – Мишин снова достал из кармана свою записную книжку и продиктовал Кублановскому адрес. – Ну всё. Нам некогда. Ехать пора. Приезжай туда часа через два. Ждём тебя. И не опаздывай! Понял? Ну, то-то! Смотри, вовремя появляйся. Ни секундой позднее, ровно через два часа. Ну пока!..

Мишин привычным жестом положил телефонную трубку на место – и засмеялся.

Мы с Губановым, ровным счётом ничего ещё не понимая, удивлённо, тревожно смотрели на довольного разговором непонятым, весёлого Колю.

– Куб звонил, – пояснил Мишин. – Сказал, что страстно мечтает побывать, вот сейчас, немедленно, вместе с нами, у Эренбурга. Очень просился. Рвался с нами объединиться. Между прочим, сказал мне гордо, что у него даже справка от Эренбурга есть.

– Какая ещё там справка? Что за чушь? – спросил его я.

Но это ведь был Мишин. А Мишина надо было знать. Он уже был – в действии, в игре. Он уже разыгрывал свой очередной спектакль.

– Куб сказал, что, когда он из Рыбинска своего приезжал к Эренбургу, то Илья Григорьевич принял его дружелюбно, приветливо, и даже выдал ему, для властей, для гонителей рыбинских, специально, личную справку. И Кубик её с тех пор повсюду носит с собой. Как реликвию. И сейчас она у него с собой. Пусть приезжает, часа через два. Заодно и увидим, что у него там за справка!

– Ну, Коля, прямо сплошные чудеса! – изумился я. – Какие-то личные справки от Эренбурга у Куба!

– Привычка к бумажкам советская! – едко заметил Губанов. – Канцелярщина. Весь он насквозь, этот Куб, служебный. С печатями. И с подписями начальников. Размашистыми. С завитушками. Карьерист, ети его так и разэтак! Жук. Бюрократ. Хитрожопый. Чиновник хренов! Эгоист и службист. Вы помните слова мои, будет ещё он сидеть в редакции толстого журнала, в роли заведующего отделом поэзии. Где-нибудь в грёбаном «Новом мире». Именно там. Я знаю. И что? Вы, наверно, думаете, будет он там своих друзей печатать когда-нибудь? Вот! – Губанов сложил внушительную фигу и резко выдвинул её прямо к нам, вперёд. – Вот что увидят друзья! Только тех он будет печатать, кого ему, Кубу в квадрате и в кубе квадрату, выгодно. Плевать ему будет на дружбу. И даже, прости меня, Господи, – тут Губанов перекрестился, истово, суеверно, – и на поэзию даже будет ему глубоко, из кресла его, наплевать. Вот увидите. Гадом буду, если это будет не так! Ишь ты, справка есть у него. Ну ладно, справка так справка. Куб со справкой – это уже не куб, а квадрат с хвостиком. Интересно мне, а печать на эренбургской справке тоже есть? Наверное, личная. Как же Кубу – и без печати? А если, пока что, и нет её даже, то он её в другой печати получит. В той самой, официальной. В журналах и в книжках своих. Везде он печататься будет. Вот увидите, он-то – будет. Если справку носит с собой, на всякий пожарный случай, то везде, где возможно, пролезет. Документ, ничего не скажешь! А потом он и в секретарию союза писателей, запросто, шустро, пролезет. В начальство. И депутатом ещё может стать. Солидная должность. А если и не депутатом, то помощником депутата. Важным будет Куб, вот увидите! Что ему? Он всегда – со справкой!

– Да брось ты, Лёня, по новой, заводиться, с пол-оборота! – сказал я. – Что это ты пророчишь, такое вещаешь?

– Я наперёд всё вижу! – отрезал твёрдо Губанов. – Как сказал я, так всё и будет. Вот вы, – он сразу обеими вытянутыми руками показал на меня и на Мишина, – вот вы, оба друга моих, это сами ещё и увидите! И ты, – он ткнул Колю Мишина длинным пальцем в грудь, – и ты, Мишин, тоже будешь когда-то начальником!

– Да ладно тебе, Губаныч! – заулыбался Мишин.

Губанов, несколько взвинченный пророчествами своими, достал сигарету из пачки полупустой, нашарил, на ощупь, спички в кармане – и порывисто закурил.

Мишин вдруг спохватился:

– А чего это мы стоим? Едем, едем! Давно пора.

Мы выбрались из дому в зиму, в морозную, с хрустом льдинок под ногами, с круженьем снежинок над округою всей, белизну, в синеву небосвода, густеющую, лиловеющую, темнеющую на востоке, тихонько веющую ветерком,

теребящим ветви в дремоту впавших деревьев, чернеющих вдоль ограды пу-
стого, длинного сквера, добежали втроём до метро.

По прямой, от Автозаводской до Сокола, доехали быстро до центра.

Потом, по улице Горького, по правой её стороне, подниматься начали
вверх.

Прошли вдоль нескольких слишком больших и длинных домов, где, судя
по слухам, жила, обитала, скажу нарочно, чтобы выделить это, серьёзная, с
привилегиями немалыми и заслугами перед отечеством очевидными, эли-
тарная, в небожители не годящаяся, но в земном раю пребывающая, по на-
родным, простым понятиям, начальственная, советская, только так, и никак
иначе, неприступная, сытая публика.

Вёл нас – Мишин. Он шёл впереди. Оглядывался иногда – и помахивал
нам рукой: быстрее, мол, ребята, двигайтесь.

Мы свернули во двор кондового, добротной постройки, сталинских архи-
тектурных времён, серого, мне показалось, на фоне снега и неба, на белом и
тёмно-синем, а может быть, и не серого, но мглистого, вроде бы, дома.

Поднялись на нужный, известный только Мишину, как и всё остальное
сегодня, этаж.

Оказались у двери квартиры.

Дверь как дверь. Ничего в ней особенного нет. Но там, за нею, в квар-
тире, там, внутри, как в отдельном, личном, посреди столицы устроенном
для себя, писателя, мире, выезжая оттуда порою в заграничные страны
и вновь, неизменно, туда возвращаясь, чтобы там, в тишине, в покое, над
своими воспоминаниями и другими вещами работать увлечённо, живёт
Эренбург.

Мы с Губановым переглянулись.

Как-то странно всё получается: захотели – и, вот мы, – пришли.

Не слишком ли это дерзко?

Не пошлют ли, куда подальше, нас отсюда? Может, одуматься – и, поку-
да не поздно, уйти, самим, подобра-поздорову, без всякого лишнего шума, по
собственной воле, спокойно, с достоинством, но – уйти?

Ну подумаешь – блажь губановская!

Да, приспичило. Было дело.

Захотелось ему непременно познакомиться с Эренбургом.

А теперь вот – не очень хочется.

Даже больше – совсем не хочется.

Преспокойно можно без этого нам, по совести, обойтись.

Губанов заколебался.

Действительно – как нам быть?

Я решил, что лучше всего потихоньку отсюда отчалить.

Поигрались – и ладно. Хватит. Всему – своя мера, свой час.

Посмотрел я на Лёню внимательно.

И увидел: он, вдохновитель этой вылазки дерзновенной, тоже хочет от-
сюда уйти.

Но Коля Мишин, герой московских преданий древних, вовсе не думал сда-
ваться.

Наоборот, он только начинал ещё свой спектакль.

Человек-театр был в ударе.

Остановить его было уже невозможно.

И я, поглядев на него, смирился и с мишинской прытью, и с недавней гу-
бановской блажью, и с приездом нашим спонтанным к незнакомому человеку,
и стал, как не раз и не два, но действительно много раз бывало, когда начина-
лось новое Колино действие, когда его лицедейство превращалось в нежданное
празднество, за которым всегда вставало непременно волшебство, просто
ждать – что же будет дальше?

Мишин сделал нам знак – подождите, мол, всё в ажуре, всё в полном по-
рядке, будет вам Эренбург, ребята, – и уверенно позвонил.

Раздался громкий звонок.

Дверь открылась довольно скоро.

На пороге стояла спокойная, миловидная, пожилая, как тогда показалось
нам, женщина. Ну а лучше сказать бы – дама.

– Здравствуйте. Вы к кому? – дружелюбно спросила она.

– Здравствуйте! Мы к Илье Григорьевичу пришли! – сказал ей приветли-
во, вмиг проявив своё обаяние, но достаточно твёрдо, Мишин. – Ведь сейчас
он дома, я знаю.

– Да, Илье Григорьевич дома, – согласилась дама. – Но он очень занят. Ну,
коли пришли вы, то что мне сказать ему? Кто вы?

– Скажите Илье Григорьевичу, что пришли молодые поэты! – отчётливо
произнёс, глядя даме прямо в глаза доверительно, Коля Мишин.

Дама слегка улыбнулась.

Потом, помедлив, промолвила:

– Ну, хорошо. Подождите, пожалуйста. Я сейчас ему расскажу о вас.

Она аккуратно, плотно, прикрыла дверь за собою и бесшумно исчезла за
нею.

Мы стояли втроём на площадке между лестничными пролётами и жда-
ли – то ли желанного возвращения дамы, то ли появления доброй феи, за ко-
торым пойдут чудеса.

Дверь между тем приоткрылась.

На пороге вновь появилась миловидная, тихая дама.

– Илье Григорьевич просит передать вам, что он очень занят. Приходите
к нему через месяц. Всего доброго! – и хотела закрыть за собою дверь.

– Подождите-ка! Извините. Не спешите! – сказал ей Мишин. – Передайте
Илье Григорьевичу, что пришли к нему настоящие, талантливые, молодые,
сами видите нас, поэты!

– Хорошо. Подождите! – сказала дама и скрылась за дверью.

Мне всё это совсем не нравилось.

– Ребята, пойдёмте отсюда! – сказал я Губанову с Мишиным. – Лишний
раз убеждаться не надо: Эренбург – человек занятой.

Лёня хмыкнул и промолчал.

А Коля только и бросил:

– Спокойно, спокойно, парни!

Дверь скрипнула и открылась.

Появилась милая дама и сказала такие слова:

– Илье Григорьевич просит вам передать, что, раз вы талантливые моло-
дые поэты, то приходите к нему через две недели.

Дама хотела, видимо, попрощаться и поплотнее закрыть за собою дверь.

Но дама не знала ведь Мишина.

А Мишина, человека из Климовска, надо знать.

Если он что-то задумал, ежели это естественно вписывается в перечень бесконечный его артистических, небывалых порою историй, то замыслы он свои непременно осуществляет.

– Погодите! – сказал ей Мишин. Он весь подтянулся, этак гордо, с достоинством, выпрямился и, чеканя каждое слово, не выкрикнул и не вымолвил, а как-то, вроде, пропел: – Передайте Илье Григорьевичу, что пришли к нему, в кои-то веки, гениальные молодые поэты! Он всё поймёт.

– Хорошо. Сейчас передам. Подождите меня, пожалуйста! – сказала милая дама и тут же скрылась за дверь.

Вскоре дама вышла к нам снова.

Она светло улыбалась.

– Сказал мне Илья Григорьевич, что если уж гениальные молодые поэты к нему, в кои-то веки, пришли, то следует, несмотря на занятость, прямо сейчас встретиться с ними. Прошу вас! – и она во всю ширину распахнула дверь перед нами, приглашая войти в квартиру.

Мишин с победным видом посмотрел на меня с Губановым.

Посмотрели мы на него: ну и Коля, ну и герой!

И зашли, друг за другом, в прихожую.

– Снимайте ваши пальто вот здесь, – показала дама. – И проходите, пожалуйста, не стесняйтесь, вот в эту комнату. И немного ещё подождите. Илья Григорьевич скоро освободится и примет вас.

Мы сняли свои пальто в прихожей и молча прошли в указанную милостивой, приветливой дамой комнату.

И стали в ней ждать, когда же примет нас, наконец, Эренбург.

В комнате, где мы теперь, можно сказать, случайно, или, скажем и так, патетически, волей случая, находились, висели на стенах работы, под стёклами и без стёкол, но всегда хорошо окантованные, живопись первоклассная и первоклассная графика.

Я присмотрелся. Марке. А это Дюфи. Матисс. Пикассо. Леже. И Шагал. Тышлер. А вот и Фальк...

Ничего себе! Ну и коллекция! Художники сплошь с мировыми именами, как на подбор. Нормальная, право, компания.

Свет в комнате, где висели работы друзей Эренбурга, присутствуя здесь привычно, давно, совсем по-домашнему, так, словно сами художники находились в гостях у хозяина, просто жили здесь, у него, был рассеянным, приглушённым.

Были мы предоставлены, временно, самим себе. Так уж вышло.

А поэтому, прежде всего, рассматривали картины.

Разглядеть их, все, при желании, можно было, но не без трудностей, с некоторым напряжением.

Прошло минут пять, наверное.

Потом прошло ещё столько же.

Потом ещё. И ещё.

К Эренбургу, решившему встретиться с пришедшими в гости к нему, в кои-то веки, поэтами, молодыми, причём гениальными, как представил нас всех Коля Мишин, человек боевой, настроенный на победу, в любой ситуации, и тем более, в нынешней, очень уж непростой, нас пока что не звали.

А заметил вдруг, что Губанов снова начал томиться, маяться.

Похоже было на то, что, попав наконец к Эренбургу, он уже потерял к желанной для него, совсем ведь недавно, может, час-полтора назад, очень важной и нужной встрече, всяческий интерес, даже и не увидев широко известного взглядами своими передовыми, старого, знаменитого, с необычной судьбой, писателя.

Губанов начал ходить по комнате, взад-вперёд.

А потом он выкинул фортель – взял да и сделал стойку на руках, в самом центре комнаты, в окружении дивных картин.

Просто так. Захотелось, видать.

Постоял он, вниз головой.

Посмотрел он, с улыбочкой, с вызовом, снизу вверх, на меня и на Мишина.

Потом встал пружинисто на ноги и обратился к нам с Мишиным.

– Всё! Надоело! Вы – как хотите. А я уйду! – заявил он без обиняков.

– Куда ты уходишь, Лёня? – спросил его Коля Мишин. – Ты же хотел показаться с Эренбургом. Я всё устроил. Успокойся. Давай подождём.

– Ждите сами! – сказал Губанов. – Без меня. А я уйду. Хватит с меня, выше крыши, этого ожидания.

– Это как-то вразрез идёт с недавним твоим желанием, – сказал я ему, огорчившись. – Только сюда мы приехали, а ты уже, вот, мол, вам, сваливаешь.

– Мне уходить пора, – заявил преспокойно Лёня, – меня Евтушенко ждёт. У него сегодня премьера. Шостакович, вы, может быть, слышали, на его стихи замечательную музыку написал. «Бабий Яр» и другие стихи. Евтушенко меня пригласил. Отсюда недалеко ведь, как раз, до зала Чайковского. Если выйду прямо сейчас, в аккурат к началу концерта добежать успею туда.

– Какого же хрена ты, Лёня, так долго морочил нам голову? – осерчал я и возмутился, да и было ведь, от чего. – Сорвал меня с места, в морозы, вытаскивал из тепла. Колю настроил на подвиги. Эренбурга ему подавай, видите ли! Приехали. Ждём. Так чего же тебе надо? Зачем тебе Евтушенко? Ещё немножко потерпи, ну самую малость, – и будет тебе Эренбург!

– **З**дравствуйте, молодые люди! – раздался в комнате негромкий, спокойный голос.

Мы, на голос, втроём, оглянулись.

В дверях, застеклённых, двустворчатых, ведущих в тихую комнату с приглушённым, рассеянным светом, где, помимо картин многочисленных, находились нынче и мы, стоял невысокий, худой, сутулящийся человек, очень уже пожилой, с серебристо-седой головой, с узким, бледным, давно знакомым, по бесчисленным снимкам, в книгах и в газетах, лицом, в потёртом пиджаке, балахоном свисавшем с плеч его, узковатых, усталых, и в домашних растоптанных тапочках.

Это и был Эренбург.

– **З**дравствуйте, – очень вежливо сказал я. И тут же, смутившись, прибавил: – Илья Григорьевич!

– Добрый вечер! – сказал Коля Мишин.

– Приветствую вас! – подчёркнуто громко сказал Губанов.

Эренбург посмотрел на меня, потом посмотрел на Мишина, потом посмотрел на Губанова, улыбнулся – и протянул нам руку свою, для приветствия.

Мы, по очереди, пожали его птичью, белую руку.

– Так это вы гениальные молодые поэты? – спросил, с нескрываемым интересом глядя на нас, Эренбург.

– Да, это мы! – спокойно и скромно ответил Мишин.

– Мы и есть! Гениальные. Точно! – с вызовом, с дерзким прищуром из-под чёлки, ответил Губанов.

Я – не стал отвечать. Промолчал.

– Очень приятно увидеться с гениями! – сказал Эренбург. – Пойдёмте ко мне в кабинет. Побеседуем там. Прощу. Пойдёмте со мной.

Эренбург, пригласив нас троих, жестом привычным, следовать за ним, повернулся неспешно и направился, шаркая тапочками домашними по паркету и сутулясь, в соседнюю комнату.

И тут Губанов, прокашлявшись и подмигнув нам с Мишиным, – на фоне «парижских картин», если вспомнить стихи Мандельштама, где он пьёт за военные астры и за всё, чем корили его, и стихи самого Эренбурга, допустим, о Модильяни, или те страницы живейшие эренбургских воспоминаний, где впервые, в советское время, он поведал всем нам о Париже и внушил тем самым любовь к мировой столице искусства, где шестое, возможно, чувство пробуждается у людей, в стороне от кремлёвских идей, – вдруг окликнул громко его:

– Илья Григорьевич! Слышите меня? А, Илья Григорьевич!

– Да! – оглянулся на Лёнин, с хулиганскими нотками, голос Эренбург. – Я слушаю вас.

– Я ухожу! – без всяких церемоний, прямолинейно, и не то чтобы слишком резко, но с какой-то пружиной скрытной, ржаво скрипнувшей, в интонации, с идиотским, дурным нажимом на последнем слоге несносного слова этого, «ухожу», о приличиях не заботясь, одержимый уже другим, новым, свежим желанием, и по этой причине свалить поскорее отсюда намеренный, вот и всё, заявил Губанов.

– Как? – изумился губановскому заявлению Эренбург. – Уже? Но мы ведь ещё толком даже не познакомились, не успели поговорить. Почему же вы, так вот, сразу, едва мы с вами увиделись у меня, куда-то уходите?

– Надо! – сказал Губанов.

– Может, серьёзное что-нибудь случилось у вас? – участливо спросил его Эренбург.

– Евтушенко ждёт меня, – вкратце, на ходу, пояснил Губанов. – У него сегодня концерт. Шостакович хорошую музыку на его стихи написал. Он меня пригласил, заранее. Надо прийти. Опаздываю!

– Ну что же! – сказал Эренбург философски, – надо так надо. Простите, как ваша фамилия?

– Губанов, – сказал ему Лёня, – я Леонид Губанов.

– Ах, Губанов! – слегка покивал головой седой Эренбург. – Да-да. Конечно. Тот самый. Ну как же, мне говорили!

– Ещё увидимся! – тоже кивнул головой, да так, что чёлка его взлетела, как будто бы от порыва январского ветра, Лёня.

– Очень даже возможно, спешащий на концерт молодой человек, что ещё мы увидимся с вами, – сказал Эренбург, с интересом глядя на Лёню Губанова.

– Не сомневайтесь! – твёрдо заверил его Губанов, уже надевая старенькое, негреющее пальто и быстрым движением школьника, убегающего с уроков, нахлобучивая на свою голову старую шапку с опущенными ушами. – А скоро ещё и услышите обо мне! – задиристо, с вызовом, добавил, для верности, он.

– Уже слышал, – сказал Эренбург. – И ещё, наверно, услышу. Знаете ли, Москва ведь город такой: если что-нибудь новое, интересное, свежее появляется, то сразу же все об этом явлении узнают.

– Ладно, – сказал Губанов, одевшись. – Пора мне идти.

– Передавайте привет Евтушенко! – сказал Эренбург.

– Передам! – заверил Губанов. – Ну, бывайте, ребята! – по-свойски обратился он, пожимая впопыхах наши руки, к нам с Мишиным. А потом, весь – порыв, к Эренбургу: – До свидания! Убегаю. Рад был встрече, Илья Григорьевич!

– До свидания, молодой гениальный поэт! – сказал ему, покивав головой, Эренбург.

Хлопнула дверь – и Губанов тут же за ней исчез.

Эренбург обратился к нам с Колей:

– Ну, молодые люди, пойдёмте! Поговорим.

Он привёл нас в свой кабинет.

В эренбургском кабинете было всё, что должно было быть в кабинете маститого, старого, заслуженного писателя, да ещё не совсем простого, а такого вот, с необычными биографией и судьбой.

Были рукописи, картины, было множество разных книг, всевозможных предметов масса, крупных, мелких, чьё назначение было нам непонятно вовсе или полупонятно, так, серединка на половинку, – вроде трубок, шкатулок, всяких интересных с виду вещиц, экзотических, декоративных, странных, милых или загадочных, создающих особую, творческую атмосферу, давно прижившихся здесь, на малом, тесном пространстве небольшой, не такой уж высокой, до предела заполненной комнаты, как в отдельной, свободной державе, независимой от всего, что мешает жить по своим, никому не подвластным законам, и хозяевам этой квартиры, и вещам, существующим в ней, авторучке, машинке ли пишущей, книгам, письмам, журналам, рисункам окантованным на стене, полкам, стульям, столу, на котором возвышались груды бумаг, даже воздуху, с характерным в нём присутствием дыма табачного, всем, всему, навсегда, навеки, потому что именно так здесь, в жилье человека, отдельном, во владении этом удельном, было некогда заведено, потому и предмет здесь любой со своей отдельной судьбой и своей необычной историей, потому-то и много всего здесь, что так, и никак иначе, говоря по-простому, надо, – но зато хорошо понятно пригласившему нас в своё обиталище, в мир свой, личный, сокровенный, седому мастеру.

Мы с Мишиным в мире этом – оставались самими собою.

Вначале мы с ним, по очереди, познакомились с Эренбургом.

– Владимир Алейников! – скромно представился я писателю.

– Слышал, слышал, – сказал Эренбург. – Мне о вас говорили. Вы ведь с Украины сами, не так ли?

– Да, с Украины, – сказал я, уточнив: – из Кривого Рога.

– Учитесь здесь, в Москве? – спросил меня Эренбург.

– Да, учусь. В МГУ.

– На каком факультете?

– Есть на истфаке отделение искусствоведческое.
 – Как же, знаю.
 – Там и учусь.
 – Сколько вам лет, Володя? – почему-то спросил Эренбург.
 – Восемнадцать, – ответил я. – Скоро уже, в январе, двадцать восьмого числа, исполнится девятнадцать.

– А мне в январе, уже скоро, двадцать седьмого числа, должно исполниться семьдесят четыре года, представьте, – с грустной ноткой сказал Эренбург. Помолчал и потом продолжил: – Вы такой ещё молодой – и уже известны в Москве. Дай-то Бог, чтобы всё сложилось у вас удачно в дальнейшем. Если помнить, где мы живём.

Я не знал, что на это сказать.

Эренбург повернулся к Мишину:

– А вы, молодой человек? Вы кто, скажите-ка, будете?

– Мишин я. Николай Лукьянович, – степенно ответил Коля. – Друг Володин. И Лёнин друг. Пишу стихи. А учусь я в МГУ, на искусствоведении, вместе с Володей. И знаете, Илья Григорьевич, вот что хочу я вам сразу сказать, потому что чувствую сердцем, что уж вы-то меня поймёте, – тут Коля очень серьёзно, выразительно посмотрел на опешившего Эренбурга и с нажимом, с должным значением, чеканя каждое слово, торжественно произнёс взлетевшую фейерверком над нашими головами, волшебным светом искусства озарённую фразу: – Думаю вскоре заняться театром!

– Интересно! – сказал Эренбург. – И кем же вы намереваетесь быть? Режиссёром, наверное? Или же драматургом?

– И тем, и другим! – уверенно, спокойно, невозмутимо ответил писателю Мишин. – У меня получится. Справлюсь.

– Так, так, – сказал Эренбург. – Пусть и так. Занимайтесь театром.

Эренбург сидел перед нами за своим, заваленным папками с какими-то пухлыми рукописями, кипами всяких бумаг, письмами, книгами, письменным, рабочим, что было видно с первого взгляда, сразу же, по-цветавевски верным, столом.

На столе стояла коробка из-под сигар кубинских, выше краёв наполненная болгарскими сигаретами без фильтра – «Шипкой», наверное, «Джебелом» или «Солнцем», точно сейчас не помню, но какими-нибудь из этих сигарет, или всеми тремя, вперемешку, они у нас везде тогда продавались.

Разговаривая неспешно с нами, гостями случайными, Эренбург непрерывно курил.

Одну за другой, одну за другой, сигареты он брал из коробки.

Едва загасив одну, закуривал тут же другую.

Сигаретный дым поднимался над ним белёсыми струйками, превращался потом в облака, висел сплошной пеленой.

Дым чалмою прозрачной окутывал его седую, светящуюся фосфорически-бледно, загадочно, стариковскую узкую голову.

Дым обвивал спиралями его подвижные, лёгкие, непрерывно жестикулирующие, артистически-чуткие руки.

Дым тянулся из кабинета в коридор, проникал в другие комнаты, плотными космами висел в тесноватой прихожей.

Дым обматывал, словно бинтами, его грудь волокнами сизыми.

Дым хмарью слоистой, зыбкой лежал на его плечах.

Дым шатающимися столбами вставал перед ним на столе.
 Эренбург сидел перед нами, весь в дыму, весь окутанный дымом, как седой вулкан, и курил.

Говорил и всё время курил.

Курили и мы с Колей Мишиным.

Столько дыма я сроду не видел.

Прямо смог получался какой-то, натуральный вполне, да и только!

Смог? А что! Да, может, и смог.

Эренбург нас вначале расспрашивал, понемножку, о том да о сём.

А потом, незаметно как-то, для него-то, наверно, естественно и привычно давно уже, начал говорить, говорить – сам.

Да так почему-то увлёкся, что мы его только слушали, мы внимали ему, так скажем, и не думая, человека, говорящего непрерывно, интересно, складно, толково, иногда и парадоксально, даже в мыслях перебивать.

Это был – монолог. Длиннющий. Вроде гибкой, тугой спирали, он раскручивался в пространстве и во времени. В нём светилось звёздной россыпью всё, что вряд ли уместилось бы в сочетании трёх понятий, простых и сложных, на века, – люди, годы, жизнь.

Может быть, Эренбургу даже хотелось выговориться.

Был он к нам расположен по-доброму, я это чувствовал.

Ну а может быть, как теперешние, искушённые в разных тонкостях человеческих отношений и мистической подоплёки в них, на каждом шагу, буквально, в каждом жесте и в каждом слове, в каждой мысли порой, знатоки, эрудиты, ребята подкованные, образованные, смышлёные, напускающие тумана там, где надо и где не следует, вперемешку, авось, мол, сойдёт, разберутся потом, считают, Эренбург, таким вот манером, говоря непрерывно, внимание на себе концентрируя наше, пусть даже произвольно, пусть даже, в своём порыве, ничего не зная об этом, энергию нашу тянул.

Знатокам – палец в рот не клади.

Так считают они – и всё тут.

Хочешь – верь, а хочешь – не верь.

Что гадать об этом теперь?

Получался этакий странный, ненарошный, необходимый, интересный, интеллигентный, эренбургский вампиризм.

Так или нет, но всё-таки придётся прямо сказать, что некоторую усталость вскоре я ощутил.

Откуда ей было взаться?

Усталость была – не физической.

Иного какого-то рода.

Трудно мне её выразить.

Помню – мозг уставал.

Возможно, старый писатель подпитывался бессознательно энергией нашей, обильной, избыточной, молодой.

Энергия эта, свежая, кипучая, беззащитная, ему, человеку старому, очень была нужна.

«Люди, годы, жизнь», сочинение многотомное, продолжения которого ждали читатели, дописывать надо было.

Да мало ли что ещё надо было успеть сделать!

Энергия всем на свете, кого ни возьми, нужна.

И нужна особенно – в старости.

И Эренбург всё вёл свой монолог – и нависал над нами сизый смог.

Эренбург тогда, в январе, вроде, близком совсем, недавнем, и таком далёком, что вряд ли до него дотянусь теперь, точно так же, как и до снега, в эти дни в столице идущего, и до света лампы настольной в кабинете, насквозь прокурённом, – (да чего там, не дотянуться до руки товарища старого – умер Коля Мишин, Лукьяныч, в снег ушёл человек-театр, в свет ушёл запредельный, дальний, бесконечный, герой легенд и преданий, и только память воскрешает его, и снова улыбается он – сквозь снег, говорит со мною – сквозь свет, свет, астральный ли, театральный ли, свет, и всё тут, сквозь бездну лет), – Эренбург тогда, в январе, снежном, дальнем, на самой заре многотрудного времени СМОГа, будто нас провожая в дорогу и напутствуя нас, по-хорошему, но предвидя то впереди, чего мы ещё, пока что, конечно, не представляли, в силу возраста своего, в правоте его убедившись лишь потом, говорил интересно.

Где-то в бумагах моих, чудом, возможно, среди прежних бездомниц, в семидесятых безумных годах уцелевших, вроде бы, да, наверное, должна быть довольно большая, давняя запись об этом.

Но где и когда мне искать её?

Сохранилась ли? Я не знаю.

И вовсе ведь не в подробностях писательского монолога нынче дело, со мной согласитесь, призываю вас, ибо прав я, а в ином, совершенно ином.

Так я думаю. Так считаю.

В некоторой обособленности, очевидной несоединимости слишком разных во всём поколений, быть может. В отсутствии связи, прочной, неразрушимой. Потому что судьба России такова. В ней нарушена связь. Меж людьми. Но ещё – меж мирами. Теми, созданными когда-то предыдущими поколениями, – и мирами, которые мы создавали, в другое время.

Эренбург ведь нас, говоря увлечённо, почти не слышал.

Он слышал – только себя.

Допускаю вполне, что в таком вот выговаривании спонтанном был, чего там скрывать, элемент, нет, уж лучше сказать мне – свет человеческой исповедальности, пусть и скромный совсем, не сразу осязаемый. Но ведь был он. Был – и всё тут. Поди возрази!

С чего бы, скажут, предвижу, некоторые из нынешних умников междувременья, писателю исповедоваться вдруг, ни с того ни с сего, перед вовсе ему не знакомыми, в первый раз его увидавшими, да и то случайно, – а может быть, по судьбе, – молодыми людьми?

Значит, надо было ему так тогда поступить.

Речь – сама ведёт человека.

И, в данном случае, то есть в эренбургском частном случае, привела его прямо к нам.

Нет, вывела его к нам – из клубов сигаретного дыма.

И мы его, откровенного с нами, – внимательно слушали.

И хорошо, лучше многих, зная, как это важно – вовремя быть услышанным, Эренбург, вдохновенный, седой, всё, что считал, наверное, нужным, всё, что хотел высказать, обозначить хотя бы штрихом, пунктиром, наскоро соединить разрозненные куски мыслей, взглядов, прозрений, на живую нитку, потом сами небось разберутся во всём, говорил – нам.

Не с нами, а именно – нам.

Адресуясь конкретно к нам, узанным им, прозорливцем, пусть и совсем недавно, сегодня, по именам.

И в нашем лице – обращаясь ко всем остальным, для него новым, пока незнакомым людям, ещё молодым.

Он рассказывал нам о своей бурной и сложной жизни. Бурной – совсем не случайно. Хорошо, что была такой вот, событиями переполненной, встречами и трудами. Тихой быть она не могла. И спокойной. Была – стремительной. Ну а сложной была недаром. В этих сложностях закалялся дух. Таков уж наш сложный век, чтобы к свету шёл человек.

О поездках своих зарубежных. Было вдосталь их. Просто не счесть.

О далёких странах, неведомых нам. Они ведь на свете – есть.

О людях, ему интересных, жителях заграничных, за железным заржавленным занавесом находящихся, государств, и согражданах наших, людях необычных, весьма колоритных, с достоинствами несомненными, со странностями простительными, со сложными биографиями и судьбами фантастическими, словом, людях неповторимых, не каких-нибудь там европейских, защищённых своей свободой и законами непреложными, а вполне узнаваемых, тут же понимаемых нами, сразу же, без ненужных всем оговорок, принимаемых нами такими, каковыми они являются, здесь, в действительности, по Розанову, если вспомнить, самом существенном на безумной нашей земле, где нисходит с высот небесных несравненная благодать на родную, грустную почву, чтобы дух устремлялся ввысь, чтобы звёзды над миром зажглись, людях разных, простых и сложных, закалённых в бедах, отечественных.

О своих теперешних, творческих и житейских, конечно, планах.

Успеть бы, покуда жив, покуда идёт работа на подъёме, всё разрастаясь, продолжаясь день ото дня, покуда хватает огня в крови, дописать мемуары!

В журнале опять задерживают публикацию очередных, весьма существенных глав.

Требуют исправлений. Делают изуверские, иначе не скажешь, купюры.

Досадно, право. И грустно.

Сколько нервов, сколько здоровья на это приходится тратить!

А время идёт и идёт.

И сколько его осталось?

Да, ему сейчас интересна современная молодёжь. И особенно молодёжь одарённая, пылкая, творческая.

Это уже совсем, он понял, другие люди, нежели Евтушенко с Вознесенским и все остальные известные шестидесятники.

Новое поколение. Новое. Небывалое.

Каково придётся ему – в советской, пусть и существенной, но слишком жестокой действительности?

Да и в мире, на всей планете, если честно, давно неладно.

Искусство, несущее свет, исцеляющее, великое, угасает, не возражайте, повсеместно, да, это так.

На смену искусству приходит своеобразный спорт.

Скоро всё превратится в спорт.

Искусство подменяет спортом.

Вообще, в скором будущем, здесь, на планете нашей, летящей неизвестно куда в космическом, ледяном, бесконечном пространстве, очень многое, с

положительным знаком, хорошее, светлое – очень многим, весьма паршивым, с отрицательным знаком, подменят.

Имитировать будут ловко литературу, живопись, музыку, архитектуру.

С ног на голову наловчатся переворачивать старые, необходимые людям, жизненно важные истины.

Выдавать навострятя чёрное, негативное сплошь, за белое.

Будут, в злобе необъяснимой, посягать на русскую речь, на живое, родное слово.

Будут всячески засорять, цинично, преступно уродовать, даже изничтожать самое главное – речь.

Вряд ли это у них, маячащих где-то там, впереди, в дыму городском, в наслонениях смога, смутно брезжащих в зыбком тумане меж землёю и небом родным, зарождающихся за гранью века нашего непростого, находящихся в состоянии то ли сна, то ли кайфа странного, то ли странного, долгого трансa, незаметных пока что, незримых для народов, но всё-таки явных, оголтелых, неистовых будущих разрушителей нашей культуры и страны безграничной, получится.

Но вред они, разрушители, коим имя и впрямь легион будет вскоре, лет через сорок, нанесут всему настоящему, всё подмяв под себя, – огромный.

Появится псевдокультура.

Такая вот лживая дура.

Закрутит свои шуры-муры.

Де-факто. Или де-юре.

Пустьится в перепляс.

Запоёт. Заблажит. Для масс.

Примитивная до безобразия.

Взвоят Европа и Азия.

Начнётся сплошная истерика.

Ухмыльнётся криво Америка.

План Даллеса помните? Нет?

Вспомните. Вот вам – ответ.

На всё абсолютно. Так-то.

Не домыслы это. Факты.

Будут превозносить всяких мерзавцев и пакостников, и они возомнят о себе, что они-то и есть отныне самые что ни на есть выдающиеся, значительные люди, звёзды в искусстве.

В таких несомненных подвижниках, как затворник и труженик Фальк, псевдодеятели грядущей планетарной псевдокультуры, с общим вывихом и в мозгах и в запроданных тёмным силам трусоватых, паскудных душонках, не крылатых уже, почти не станут, в своей свистопляске на костях отшумевшей эпохи пребывая, словно в болоте мириады бацилл, вспоминать, а если и вспомнят невольно, случайно, так, иногда, то с этакой едкой усмешкой: вот, мол, вкалывал этот парень или этот старик всю жизнь, надрывался, бедняга, трудился, и чего же в итоге добился, неизвестно, не очень-то многого, доброй памяти, доброго имени, доброй славы, посмертной, всего-то, – а успеха можно достичь, между тем, достаточно быстро, и ещё, между прочим, кстати, не прикладывая особых, надрывающих жилы, сил.

Что уж тогда говорить о Филонове, уникальном человеке, крупнейшем художнике, с поражающим решительно всех свехупрямым его аскетизмом!

Что уж там, охо-хо, говорить о Малевиче славном, с его собственным жизненным подвигом и новаторским, смелым искусством, умершем ещё не старым в своей подмосковной Немчиновке, в чудовищной нищете!

А Татлин, с его поистине горькой, жестокой судьбой! Такой фантастически прямо талантливый человек, и жил ведь в долгом забвении. А сколько мог бы сделать!

А Фонвизин, тихий волшебник, великий акварелист, чудом, наверное, выживший?

А Тышлер, из ныне живущих?

Да мало ли кто ещё!

На Западе всё и проще, и сложнее. Уж так получилось.

Там давно уже, то потихоньку, то решительно, резко, с нажимом, сознательно, специально, разработанная дотошно заранее, под контролем кровно заинтересованных в этом властей, внедряется, поколение за поколением обволакивая, зомбируя, массовая культура.

Так, заметим себе, называемая, срежиссированная культура.

То есть сплошное, грубое, махровое бескультурье.

Читают, и все это знают, примирившись с этим давно, там поразительно мало.

Русскую, не сравнимую ни с одной из прочих, культуру великую вовсе не знают.

У нас-то в стране, слава Богу, хоть книгочеев полно. Хоть, преграды мнущая вечные, тянутся люди к знаниям.

А Запад, с его свободой, – ну разве это свобода?

Если у нас в стране попробуют, ну, допустим, на закате нашего века или ещё когда-нибудь сделать что-то подобное – это будет не просто кошмар, это будет уже катастрофа. Нет, Россия – страна совершенно, так уж здесь повелось, особенная.

Ей надо, конечно, меняться.

Но идти ей следует впредь только своим путём.

Так уж она устроена.

Он повидал весь мир.

И хорошо, нет, прекрасно, знает, что говорит.

Вот приходит к нему иногда Слуцкий, поэт серьёзный, толком ещё не изданный, рассказывает о том, что происходит в писательских, злопахательских, мрачных кругах.

Коржавин, тоже поэт хороший, как ни крути, на огонёк заходит.

Оба они, такие разные и такие слово своё сказавшие смело, надолго, поэты, вроде и там, в союзе неисчислимых писателей, а на самом-то деле оба – совершенно другие люди.

И что, в таких-то условиях, с ними обоими будет?

Евтушенко – тот половчее, умеет извлечь для себя в любой ситуации выгоду, пристроиться поудобнее всегда и повсюду с пользой для себя, горячо любимого, для себя, для себя, и только, будь то для него интересная заграничная, с помпой всегдашней, с выступлениями для публики, с публикациями, поездка, будь то издание новой, для него-то очередной, поскольку и так их много, с перебором, признаться, книги. К нему и правительство наше давно, как известно, привыкло, не говоря уж о наших многочисленных верных читателях.

А более молодые – что их в грядущем ждёт?

Издаваться на родине – сложно.

А то и, чего там скрывать, невозможно просто, для некоторых.

Долгими десятилетиями ходить в самиздатовских авторах, если не хочешь идти на уступки, не хочешь упрямо приспособливаться, ловчить?

Может быть и такое.

Может быть. И – бывает.

Примеров таких предостаточно.

Люди, такие талантливые, – вовсе не издаются.

Но самое возмутительное, самое нынче ужасное – что мир, отравленный напрочь деформированной информацией, отвратительными новациями, ведущими к упрощенчеству везде и во всём, к деградации всеобщей, к духовному спаду, к стадности, к раболепию перед модой, кем-то навязанной с определённой целью, дабы разрушить сознание, растлить молодёжь, изувечить людские ранимые души, утрачивает культуру.

Как её всем спасти?

Кто её всё же спасёт?

Возможно, вполне возможно, вот такие, сейчас молодые, талантливые, образованные, серьёзные, умные люди сумеют потом, когда-то, решительно, твёрдо, упрямо, как на войнах бывает, в битвах суровых, объединившись однажды, противостоять грядущему страшному злу.

Возможно, они найдут в себе для этого силы.

Надо противостоять всяческим разрушителям.

Надо готовить себя к тому, чтобы жить достойно, хранить в себе свет откровений, верить в добро, созидать.

Культура на всей планете всё-таки уцелеет, если её спасут настоящие создатели.

Трудно, да, очень трудно в нынешнем мире выжить и остаться в итоге хорошим, без изъянов любых, человеком.

Но жить в мире нашем, каков бы он ни был, – конечно же, надо.

И долг наш – сберечь в нём свет.

Вот, вкратце, какие темы затронуты были в его пространном, спонтанном, искреннем, обращённом к нам не случайно, понимаю теперь, через годы, пролетевшие с давних времён, в памяти сохранившемся с тех пор навсегда, монологе.

Эренбург, увлечшись невольно размышлениями своими, незаметно проговорил не менее двух часов.

И за это время он выкурил бессчётное, словно знак бесконечности, дымом написанный на фоне книг и картин, стен и бумаг, число, своих сигарет без фильтра.

Вначале, вроде бы, всё же, само собою, как водится при встрече с мэтром, решившим принять нас, подразумевалось, что мы, молодые поэты, почитаем ему стихи.

Но вскоре, проникшись своим вдохновеннейшим, с явными отзвуками древних библейских пророчеств, откровенным, нет, сокровенным, так-то лучше сказать, монологом, он позабыл об этом.

И очень даже, замечу, хорошо, что так получилось, решил я, слушая речь его клокочущую, про себя.

Лучше, с пользой бесспорной для себя, послушать внимательно старого, умного, тёртого, талантливого человека.

А стихи читать, по традиции, – с этим всегда успеется.

Да и не в каждом доме, во всякой, тем более, в этой, непривычной для нас, обстановке, следует их читать.

Эренбург устал говорить и сделал, пыхтя сигаретой новой, окутавшись дымом, или смогом сплошным, передышку.

В это время в прихожей раздался лихорадочный, громкий звонок.

Ну конечно же, это был появившийся здесь Кублановский.

Он – опоздал, как всегда.

Он пришёл сюда не через два часа, как условился с Мишиным, а позже, значительно позже.

Слышно было нам, как в дверях говорит он даме, которая разговоры с нами вела, прежде чем пригласила войти в эренбургскую квартиру.

– Здравствуйте! Я молодой поэт. Позвольте представиться. Кублановский моя фамилия. Там, у Ильи Григорьевича, сейчас, я знаю, находятся друзья мои. Понимаете, они приехали раньше к нему, а я вот попозже, так у меня получилось, что поделаешь. Можно войти?

Был он пущен дамой в квартиру.

Снял в прихожей пальто, потоптался.

Потом, потихоньку, бочком, пришаркивая ногами, аккуратно этак, пошкольному, поджавшись, как мальчик примерный, вечный отличник, с улыбкой, вдвинулся в кабинет.

– Здравствуйте, дорогой, любезный Илья Григорьевич! – поприветствовал он Эренбурга. – Вы меня помните? Да? Мы знакомы с вами. Я Юра. Кублановский моя фамилия.

– Здравствуйте! – меланхолично сказал уже основательно уставший, окутанный дымом сигаретным, бледный, седой, как полынь в степи, Эренбург. – Входите, коли пришли. Но, знаете ли, молодой человек, откровенно скажу, вас я не припоминаю.

– Ну как же! – с пафосом, глядя мимо нас с Колей Мишиным, то есть друзей своих, обращаясь только к дымящему быстро тающей сигаретой усталому Эренбургу и преданно, по-кошачьи, по привычке, моргая глазами, воскликнул смутившийся Куб. – Я молодой поэт. Помните, я из Рыбинска к вам приезжал, когда я ещё в школе учился? Я тогда специально приехал, чтобы вас поддержать, по возможности, в дни гонений серьёзных на вас. Чтобы выразить лично вам солидарность людскую с вами. И чтобы вы, наш любимый писатель, учитель, знали, что рыбинская, настоящая, дружная интеллигенция за вас, правдолюбца, горой! Я тогда вам стихи свои юношеские читал. И вы мне даже, напомним сознательно, справку выдали. О том, что я, вы считаете так, человек талантливый.

– Какая ещё там справка? – изумился, дымя сигаретой догорающей, Эренбург. – Вроде припоминаю, точно, тогда действительно приезжал ко мне мальчик из Рыбинска. Значит, это, ну да, понятно, всё понятно мне, были вы? И теперь вы, конечно, выросли?

– В Москве я теперь. Учусь, как мечтал я, в университете, на искусствоведа, в одной группе с Володей и Колей, – показал оттопыренным пальцем на меня и на Мишина Куб.

– Но при чём тут, простите, справка? Что это, право, за справка? – спросил его Эренбург. – Разве здесь у меня какая-то канцелярия?

– Вы, дорогой Илья Григорьевич, лично, выдали в своё время, когда навестил я в дни гонений на вас, мне справку, – патетично сказал Кублановский. – В то тяжёлое время и наша провинциальная, рыбинская творческая, в основном, сплочённая интеллигенция подвергалась, как я вам рассказывал, непрерывным, жутким преследованиям. И даже меня, тогда ещё обычного школьника, тоже это коснулось. И даже я пострадал. Хрущёвские, с безобразиями натуральнейшими, дела. Мрак и бред. Борьба с формализмом! – пояснил он всем нам и продолжил: – И когда я, ещё мальчишка, специально к вам приезжал, чтобы вас поддержать, я многим рисковал. И я попросил вас тут же выдать мне справку о том, что я, ну, вы понимаете, для кого и зачем, талантливый. На всякий пожарный случай. Внимательно прочитав то, что написано в справке, и увидев личную вашу подпись, мои гонители, ежели бы, представьте, это произошло, из уважения к вам, оставили бы меня в покое, дали бы мне возможность закончить школу и заниматься свободным, а к нему-то и призван я, творчеством. То есть писать стихи. И вы, дорогой Илья Григорьевич, – тут голос Куба зазвенел, разросся, усилился, запел золотой трубой, – вы вошли в моё положение – и выдали, по доброте своей, мне эту нужную справку. С тех пор я всюду ношу её с собой. Так спокойнее. Храню её бережно, свято. И сейчас она здесь, со мной! – и Куб весьма выразительно похлопал себя по груди.

Эренбург сначала не знал, что и сказать. Он, я видел, просто оторопел в ходе Юриной речи.

Потом он всё же сказал:

– Ну, молодой человек, покажите-ка мне эту справку!

Юра с готовностью, крупными буквами с маху начертанными на лбу его, тут же полез во внутренний, ближе к сердцу, видать, от врагов подальше, карман своего пиджака, извлёк оттуда, помедлив для приличия, для порядка, аккуратно, любовно сложенную, на сгибах слегка потёртую беленькую бумажку и с почтением, как реликвию, протянул её Эренбургу.

Писатель взял эту бумажку и начал её изучать.

Юра стоял, затаив дыхание. Осознавал, видно, что это был исторический, не иначе, для биографов, там, в грядущем, несомненно, без дураков, приступить захотящим к дотошному изучению жизни поэта, характерный, важный момент.

Мы с Мишиным с интересом ждали, что будет дальше.

Эренбург прочитал бумажку.

Внимательно. Медленно. Будто бы читал её – по складам.

Потом – как-то кривь улыбнулся.

Потом – сложил её вчетверо.

И – протянул Кублановскому.

Тот бережно принял её из рук в руки и столь же бережно спрятал, как прячут заветный талисман, у себя на груди.

– Да, – сказал Эренбург и кашлянул. – Писал действительно я. Моя, условно, подпись, мои, выходит, слова. Немного меня удивляет, признаться, и озадачивает, как это мог я, старый человек, на такое пойти. Заверять каких-то неведомых провинциальных гонителей, что податель сего – талантливый? Странновато, право. Наверное, был усталым. Тогда мне крепко доставалось. Как там в народе говорят очень верно? По первое число. Вот именно, так.

Однако, спасибо вам, юноша, ещё раз, по-человечески, за вашу поддержку тогдашнюю и солидарность со мной. Справку эту храните, если вы так решили. Не возражаю. И пишите свои стихи. Если я лично вам написал, что вы человек талантливый.

– Большое спасибо за всё вам, Илья Григорьевич! – с чувством произнёс Кублановский. И даже, порываясь кланяться в пояс поначалу, смутился вовремя, спохватился, перехватив изумлённые наши взгляды, но, уже удержаться не в силах от готовности тут же выразить Эренбургу своё почтение, вместе с пламенной благодарностью, поклонился всё же, слегка.

И тут-то в игру опять вступил человек-театр, фантастический Коля Мишин.

– Юра! – сказал он Кубу, предварительно подмигнув и мне, и, чего там, все ведь заодно, и скрывать здесь нечего, Эренбургу, и тот вдруг понял, что надо ведь и ему подыграть нам, и тоже, с лёгким огоньком во взгляде, лукаво, незаметно, повеселев, подмигнул нам, так, чтобы Куб ничего, понятно, не видел. – Слышишь, Юра? Как хорошо, что ты наконец пришёл, – сказал, с лицом режиссёра на репетиции нового спектакля в театре, Мишин. – Мы все, понимаешь, все уже читали стихи. Своё сполна отчитали. И Губанов, конечно, читал. И даже ушёл уже, попрощался, дела у него. Ты опоздал. Но теперь твоя настала пора. Человек тебя хочет послушать, – сделал он жест широкий в сторону Эренбурга, – и мы с Володей непрочь тебя, товарища нашего, ещё разок услышать. Давай-ка, парень, работай. Читай стихи. Твоя очередь!

– Так вы что, серьёзно, уже все читали? – спросил нас Куб.

– Говорят тебе ясно, читали! – пояснил ему Коля Мишин. – Теперь ты должен читать.

– Ладно! – сказал Кублановский, – понятненько. Я готов.

Эренбург с любопытством, несколько не прикрытым, окутанный дымом сигаретным, седой, похожий на источник зыбкого света в стороне, наблюдал за ним.

Куб осторожно вышел на самую середину эренбургского кабинета, от пола до потолка густо и плотно завешенного сизым табачным дымом.

Он стоял в этом сизом дыму, носом подвижным вперёд, с упавшим на лоб косым клином тёмных волос, несколько театрально, напоминая Пьеро, со своим бледноватым, длинным, даже узким тогда лицом, с синими и лиловыми припухлостями под глазами, стоял, безусловно, волнуясь.

Да как же не волноваться?

Ведь сейчас ему, Кублановскому, придётся читать свои нынешние стихи прославленному во всех странах, почтенному мэтру!

Это ведь, между прочим, так, для заметки, на память, уже не былые, школьные, наивные сочинения, они-то давным-давно где-то в Рыбинском прошлом!

Сейчас он пишет уже совсем по-другому, и это, знает он сам, серьёзно.

Куб откашлялся. Встал столбом посреди кабинета. И начал своим надтреснутым голосом, то петуха пуская, то уходя в басы глухие, читать стихи.

– Есть город Токио, а есть – Одиноко... – этак задумчиво, глядя на Эренбурга, на книги, на картины, потом на Мишина, и потом уже на меня, и куда-то

за стены, с грустинкой, читал он, читал с выражением, расстаравшись, читал, проникаясь невольно настроением ранних стихов своих, симпатичных, живых, грациозных, чуть наивных, слегка бестолковых, но хороших всё-таки, милых, обаятельных, им позабытых почему-то, в зрелые годы, позабытых совсем, и напрасно, потому что в них-то и был весь, как есть он, товарищ наш, Куб.

И вдохновился, ожил будущий бравый смогист, будущий диссидент, будущий эмигрант, будущий патриот, нынешний скромный студент московский, поэт молодой, всем нам известный Кубик.

И постепенно увлёкся.

При словах «в этом мире зимою холодно, так сказал мне один еврей», он сознательно, выразительно, прямо взглянул на Эренбурга, а тот, с удивлением явным по поводу такой вот сакраментальной мудрости и доморощенной, грустной философичности, – тоже взглянул на него.

– Я в пальцах сумерки держал и утро... –

с подъёмом читал Кублановский.

Эренбург рассеянно слушал.

И мы с Колей Мишиным слушали.

– И в пальцах ножницы держал, и губы окроплял водою, а рядом внучек пробегал, трясая головкою седою... –

задушевно читал Кублановский.

Плыли клубы табачного дыма.

– В этой комнате рыжи на стенах пятна, –

читал вдохновенно Куб, –

очень долго чёрный кофе не несут и очень долго в темноте белеют пальцы, и зелёные девочки поют...

Эренбург всё курил и слушал.

– Я гадаю вам, гарантирую: жить придётся, как ни крути, чем, чьё тело со скарлатиною без замужества и любви... –

читал молодой поэт со справкой от Эренбурга в пиджаке, в нагрудном кармане.

Дыма было слишком уж много.

Дышать становилось нам в эренбургском кабинете с каждой долгой, как день, минутой пребывания нашего здесь, понимали мы, всё труднее.

– Мне до станции Люблино. Пальцы выпачканы, как мелом... –

увлечённо читал Кублановский.

Наконец до него дошло, что читает он, потеряв чувство меры напрочь, он понял, что пора ему закругляться.

К концу его долгого чтения заполнивший кабинет дым-смог, сизовато-белёсый, достиг такой густоты, что все мы одновременно почувствовали: он просто мешает, густой, застоявшийся, спокойно существовать.

Какие-то, для отговорки, вежливые слова, может, и говорились хозяином в адрес Куба, но уже достаточно вымученные, тихие, незначительные.

Куда важнее была насущная – смог ведь в квартире! спасайся, кто может! – проблема.

С дымом, стоявшим сплошной пеленою туманной, следовало тут же, срочно, бороться.

Захлопали открываемые настезь лёгкие форточки.

А за ними гулко захлопали, одна за другою, и двери.

Дым, вначале неторопливо, помаленьку, нехотя, медленно, а потом всё скорее, скорее, потянулся из тёплой квартиры на холодную зимнюю улицу, на мороз, в снега, и в подъезд.

Эренбург явно был утомлён.

Седина его вдруг обозначилась белым факелом редких волос над лицом, совершенно бледным, нет, скорее прозрачным, и нос обострился, и губы стали тоньше, резче легли морщины на широком, покатоном челе, и только глаза жили странной жизнью своей, совсем отдельной, от слов, от жестов, от зимы, от бумаг, от дыма, от всего, что было вокруг, и от бурь, и от благ, и от нас, жили внутренней жизнью, таинственной, неизвестной, непостижимой, жизнью духа, скорее всего, жизнью совести, жизнью печали, как на реках, тех, Вавилонских, как в Париже, и здесь, в Москве, и везде, где бы ни был он, жили мыслью, вестью, честью, судьбой.

Да тут ещё и такая вот абсурдная, целиком из советской безумной действительности, история, это надо же, со справкой, им сочинённой, незнамо зачем и когда, что за чушь, что за бред, о талантливости для когда-то к нему пришедшего, молодого совсем, из Рыбинска, вы подумайте только, поэта.

Надо было нам уходить.

Мы поднялись и тепло попрощались с Эренбургом, и с проводившей с нами краткие переговоры у двери входной в квартиру миловидной, любезной дамой.

Пообещали ещё как-нибудь навестить писателя.

Но теперь уже – с заверениями, что свалиться, как снег на голову, не будем, а поступим вовсе не так, то есть вначале заранее договоримся о встрече, и только потом – приедем.

По лестнице, друг за другом, быстро сбежали мы вниз.

Вышли втроём из подъезда, просторного и прохладного, с тускловатым светом, во двор.

Оказались вскоре на улице.

Хорошо было здесь дышать свежим морозным воздухом.

Никакого тебе застоявшегося в кабинете и в лёгких дыма!

Конечно, идти по улице Горького вниз, к метро, посреди городского гула, в самом центре огромной столицы, меж огней и людей, по снегу, под ногами хрустящему звонко, по широкому тротуару, где следы наши сразу сплетались со следами прохожих бесчисленных, – это вам не в лесу гулять.

Это – город. Москва. Но всё-таки.

Чистый воздух нашим прокуренным, хоть ещё и выносливым лёгким, знали все мы, куда как нужен!

– **В**от видите, – твёрдо сказал Мишин, – я же, ну, вспомните, говорил, говорил вам заранее, что всё будет в полном порядке. Теперь вот и у Эренбурга наконец-то мы побывали. Нормальный старик. Немало полезного для себя я от него узнал. Приеду домой – записать надо бы. Для истории.

– Справка нам помогла! – убеждённо сказал Кублановский. – Если бы не моя справка, ну согласитесь, то ещё неизвестно, что было бы. Память у Эренбурга – будь здоров. Сразу всё он вспомнил. Приятно было ему говорить с нами, ёжику ясно. И стихи мои очень ему понравились. Поняли? Видели?

– Конечно, видели, Юра! – сказал я. – Когда ты читал «в этом мире зимою холодно...», Эренбург слегка прослезился.

– Ну да! – встрепнулся Куб. – Ты что? Это правда? Серьёзно?

– А как же ещё? – немедленно подыграл мне лукавый Мишин. – Мы втроём читали, читали, – и старик только молча вздыхал, и глядел на нас, да и всё. А когда ты читал – прослезился.

– Я польщён! – просиял Кублановский.

– Ты вот что, Юра, – по-дружески взял его вдруг за локоть посерьёзневший Коля Мишин и придвинулся сразу поближе к его замёрзшему уху, – ты справку эту, поверь мне, береги. Не теряй её. Понял? Придёт хорошее время – в музей её, может, отдашь. Представляешь? Музейный зал, а в нём, в середине самой, стенд стеклянный, прозрачный. И там, на бархатной мягкой подушечке, эренбурговская, давнишняя, от руки, между прочим, написанная, а вовсе не на машинке отпечатанная секретаршей, драгоценная для тебя и для всех наших граждан, справка. И надпись при ней пояснительная: мудрый старый писатель приветствовал талант всемирно известного поэта-лауреата ещё на самой заре его творческой, полнокровной, очевидной для каждого, деятельности. И твоя фотография там же. Нет, две. На одной ты, поэт, в молодом ещё возрасте, в нынешнем. А на другой ты уже седой, матёрый, в годах. А напротив тебя, знаменитого, – фотография Эренбурга. Ты чувствуешь, как это здорово?

– Чувствую! – очень серьёзным тоном ответил Мишину растроганный Кублановский и задумчиво шмыгнул простуженным, лиловато-багровым носом.

– Придут в музей на экскурсию советские дружные школьники гурьбою – салют поэту! – сказал, улыбаясь, я.

– Зайдут в музей в выходные дни, после долгих трудов, передовики-рабочие всей бригадой – привет поэту! – немедленно, в тон попав, продолжил весело Коля.

– Войдут в музей, маршируя, военные, всей дивизией образцовой, – ура поэту! – сказал, поддержав его, я.

– А заглянут в музей когда-нибудь просвещённые интеллигенты, всей толпой, – поклон поэту! – продолжил охотно Коля.

Но Кублановский не понял нашего зимнего юмора на гайдаровскую, из детства советского, старую тему.

Он – думал о чём-то своём.

Шагая с нами, друзьями тогдашними, вместе к метро, он пристально, сосредоточенно смотрел почему-то, насупившись, в сторону Красной площади – и крепко, по-пионерски, прижимал, прижимал к груди, к тому месту, где, рядом с сердцем, свёрнутая аккуратно, целёхонькая, лежала эренбурговская, о таланте кубовском, давняя справка, руку в плохо натянутой, потёртой, прорванной варежке, словно давая всем твёрдое, молчаливое, торжественное обещание выполнить свой несомненный гражданский долг до конца.

Нос его, покрасневший вначале, потом, чуть позже, лиловато-багровый, простуженный, двигался как-то отдельно от лица, вдоль домов центральной улицы шумной столицы, вдоль стеклянных витрин магазинов, бесконечных портретов Брежнева, аляповатых лозунгов, ну прямо кораблик беспомощный из его недавно написанного и уже не единожды читанного в компаниях

стихотворения, кораблик, «безлюдный, углый», и глаза его вдруг заморгали, и он вдохновенно запел сочинённую им на ходу дерзновенную, свежую песню:

– ...лежит часовой и две звёздочки белые на плечах держит, а рядом идёт по мостовой товарищ Брежнев. – Так вот пел он тогда. И дальше: – В глубоком овраге росла резеда, и осень была золота тополями, а на площади Красной горит звезда, как шея Разина под топорами...

Он повернулся к нам и твёрдо, прямо сказал:

– Нашей стране горемычной нужно свободное слово!

– Это уж точно! – сказал, взглянув на окрестности, я.

Мы подошли к метро.

Занырнули вместе с вечерней толпой в тепло, вовнутрь.

Там, внизу, – попрощались.

Мишин поехал на «Курскую», чтобы потом, как обычно, на электричке поздней добраться до своего занесённого снегом Климовска.

Задумчивый Кублановский поехал до станции, слишком знакомой, «Университет», чтобы потом на автобусе или же на троллейбусе добраться до общежития.

А я поехал тогда прямо до «Автозаводской», чтобы, выбравшись из метро в зимний холод, пройти по улице быстрым шагом, свернуть во двор, по широкой подняться лестнице, дверь открыть ключом и скорее оказаться в уютной, просторной, пусть и временной, но своей, так хотелось мне думать, комнате.

Напоследок, не удержавшись, из любви к роскошным концовкам и в стихах, и в театре жизненном, Коля Мишин крикнул входившему в набитый вагон Кублановскому:

– Справку свою береги!

Тот обернулся на голос товарища, выразительно прижал руку в прорванной варежке тёплой к своей груди, где лежала, надёжно укрытая от людских нехороших глаз, эренбурговская, заветная, о талантливости его, драгоценная, давняя справка, другою рукой, отчасти торжественно, как и положено, грядущему диссиденту, эмигранту, лауреату, гражданину и патриоту, отчасти меланхолично, помахал нам, привет, мол, ребята, всё в порядке, и ёжику ясно, что хранить будет справку он вечно, что без справки он ноль без палочки, а со справкой он человек, – и растворился в толпе.

Вот вам – на сон ли грядущий или же для пробуждения утреннего – решайте сами теперь – история...

3

– **В**олодя, представь себе, ну-ка сосредоточься, тебя очень хочет видеть Фонвизин! – воскликнул громко, с державинским одическим призывом в голосе, негромком обычно, спокойном, а ныне победном, торжественном, радостном, со значением в каждом слове своей, крылами, незримыми, сильными, плещущей в пространстве и времени, фразы, мой старший, чудесный друг, выдающийся скульптор, Геннадий, или, просто, по-свойски, Гена Бессарабский, едва только я перешагнул порог его прохладной, уютной, мне казалось тогда, и высокой, с потолком, уходящим в небо и едва различимым снизу, словно в древнем соборе, где-нибудь во Владимире, мастерской.

– Какой ещё там Фонвизин? – не сразу, поскольку был усталым донельзя, понял я, переводя в прохладе просторного помещения, в прохладе рабочей, творческой, да ещё и дружеской, дух и вытирая взмокшее лицо, щетиною рыжею (за дни, в которых, как в джунглях, населённых зверюгами дикими, скрывался я от напастей одиноким скитальцем затравленным, не зная, куда податься, где голову приклонить, где прийти хоть немного в себя, по возможности отоспаться, поразмыслить о том, как мне быть, что мне делать дальше меж бед и обид, как вести себя в грозном и опасном круговороте новостей, не сулящих пока что ничего для меня хорошего, встреч, ночных бессонных радений, наваждений, гаданий, страстей, игр с огнём, неожиданных гостей, находящихся меня везде, где бы ни был я, чтений стихов, со свечами, с вином, надежд на какие-то изменения в несуразной моей судьбе), основательно, густо заросшее, нервно скомканным влажным платком.

Вторая, перенасыщенная событиями, половина московского, самого первого для меня, человека приезжего, степняка, ещё не успевшего ощутить себя москвичом, основателя СМОГа, поэта с небывалой, безмерной известностью, гонимого злыми властями, отчего известность моя превратилась немедленно в славу, молодую, широкую, звонкую, непечатную, скажем так, но зато и такую прочную, что разрушить её никому из гонителей не удавалось, зелёного, то с дождями, то с крутой синевой небес над столицей, безумного мая Змеино-го, шестьдесят пятого, то есть смогистского, что ни на есть, года выдалась на удивление, в ореоле бездомниц моих и мучений нешуточных, жаркой.

Солнце, вконец раскалённое, припекало так, что, казалось, вознамерилось разом прогреть и город, промёрзший за зиму основательно, и людей, в нём живущих, каждый по-своему, как уж вышло, как уж сложилось, – не суди, и судим не будешь, так однажды сказано было на века, – и меня в их числе, после зимних, памятных всем нам хорошо до сих пор холодов и слякотно-льдистого, с ветром, порывы которого силились вырвать с мясом оконные форточки и открыть все окрестные двери, дабы всё просквозить вокруг, застудить, гусиною кожей нарастающего озноба всё покрыть, выдуть с улиц прохожих и ворваться в квартиры, сумбура мартовских и апрельских, сизых, сырых, безумных, всяк во хмелю, коварных, неугомных дней.

Спасибо солнцу за добрые, без всяких многозначительных недомолвок, без лишних намёков на возможные изменения в судьбе моей, несуразной, но зато и моей, а не чьей-нибудь, личной, неповторимой, потому и хранимой свыше, несмотря на все испытания на прочность, на все невзгоды, без поисков смысла двойного в каждом тёплом луче, намерения.

Но я, человек впечатлительный, даже больше, слишком ранимый, ото всюду теперь гонимый, мыкался по столице без угла, без покоя, такого желанного и невозможного, без отдыха, часто без нужного всем и каждому в мире сна, был напряжён и вымотан, держался на нервах, взвинченных до предела, звенящих струнами после каждого дня, на упрямстве, одет я был, по скитальческой привычке, на всякий случай, мало ли что со мною может произойти, мало ли где могу я негаданно оказаться, мало ли где придётся грядущую ночь провести, а за нею и утро, и день, и вечер, и новую ночь, бессонную, как и прежние долгие ночи, с мыслями, роящимися в мозгу воспалённом, ещё, как в походе, затянувшемся, трудном, вынужденном, бесконечном, почти поэтическому: пиджак, под ним жёлто-оранжевый мой джемпер, под ним рубашка довольно плотная, взмок, переодеться-то негде было мне, да и не во что, и шёл

к хорошему другу, скульптору, шёл пешком, шёл долго, в странной задумчивости, близкой к оцепенению, по улицам и переулкам центра столицы, покуда по наклонной, с холма сбегающей внизу куда-то, безлюдной улице Архипова не спустился, миновав синагогу, к скромному, скромнее некуда, старому, тихонько, но крепко стоявшему на месте своём годами, не бросавшемуся всем в глаза понапрасну, спокойному зданию, в котором и помещалась в середине шестидесятых скульптурная мастерская.

Достигнув цели своей желанной, нет, цели заветной, так верней будет, я, разумеется, вдруг почувствовал, что устал.

Мне хотелось тогда единственного: успокоиться хоть немного, для начала, и, успокоившись, постепенно уже, ведь не сразу можно сделать это, никак не удастся, усвоил я это навсегда в те дни, отдышаться в окружении удивительно деликатных, внимательных, милых, дорогих для меня людей.

Но не тут-то было. Какое там, и откуда оно, спокойствие!

Отдышаться тоже, хоть чуточку, признаюсь вам, не удалось.

Бессарабский, пророчески радостный, вдохновенный, буквально светящийся изнутри таинственным светом откровений, наитий, прозрений, весь в порыве, в полёте, во власти своего, неразрывно связанного с чем-то явно прекрасным, призыва, словно вырвавшись крупной птицей на свободу из клетки, поднявшись вешним деревом к свету из тени, мыслью, вышедшей в ясную даль, находящийся где-то в грядущем, где уже прозревал и надежды, и любовь, и веру, и явное, там, за гранью страданий, сияние, за которым светло вставала благодать, не хотел замечать многодневной моей усталости.

Он пристально, точно целитель на больного, глядящий в корень, суть недуга мгновенно угадывая, чтоб его излечить поскорее навсегда, посмотрел на меня и вдруг, ни с того ни с сего, ну а может, и не случайно, сделал большие глаза. До того большие, такие пронизательные, что они, чудовищно увеличившись и стремительно округлившись, гипнотически, жарко, в трансе, сверкнув тёмно-огненным блеском, чуть ли, поверьте на слово, не выкатились на меня с его от природы смуглого, в обрамлении чёрной, смолёной, с сильной проседью, бороды, аскетического лица и вперились в меня, да так, что я невольно поёжился.

– Он спрашивает меня, какой ещё там Фонвизин! – укоризненно, даже с болью неприкрытой, воскликнул Гена и вдруг неожиданным рывком воздел свои крепкие руки, рабочие, узловатые, подвижные, обострённо чувствительные к любому, из всех, с какими ему приходилось дело иметь в трудах своих, материалу, то есть руки мудрого мастера, вздумчивого творца, создающего чудеса, сознающего их появление как нечто само собою разумеющееся, привычное, руки скульптора, с пальцами сильными, сноровистые, ухватистые, музыкальные в чём-то, по-своему, волшебные, безусловно, с разбухшими венами, вверх, – Маша! Ты слышишь? Маша!

Из глубины мастерской, привычно лавируя между перегородками, ширмами и зачехлёнными, скрытыми от взглядов людских, по различным, неизвестно, каким, возможно, довольно простым, а может быть, и более сложным, для автора творений этих, причинам, загадочными, как и всё, что спрятано, пусть и на время, от нас, людей любопытных, несмотря на воспитанность даже, на сдержанность, на тактичность, всё равно любопытных, по-детски, пусть и так, но завесы тайн стремящихся приоткрывать, насколько удастся,

насколько сей риск оправдан, скульптурами, к нам, на звук непривычный Гениных восклицаний, неторопливо, как в сказках добрая фея, вышла тихая, сплошь тишина, участие и внимание, спокойная и приветливая жена Бессарабского, Маша.

Она не просто приветливо, но заботливо, как-то бережно, понимающе поздоровалась, вся светясь дружелюбно, со мной, ласково посмотрела на меня, одетого явно не по майской тёплой погоде, измотанного, смятенного, усталого, похудевшего, повзрослевшего, и вздохнула.

Вслед за Машей к нам вышла большая, лохматая, добродушная, тёмной, с проседью, масти, с глазами человеческими, собака.

Она между делом обнюхала меня, вильнула хвостом, широко, во весь рот, зевнула и фыркнула, громко и коротко, как мне, этим всем озадаченному, показалось вдруг, осуждающе.

Я смутился:

– Прости меня, Гена, но никак я не соображу, о ком ты сейчас говоришь.

Бессарабский, уже подобрев, положил мне ладонь на плечо и назидательным тоном, отчеканивая слова, одно за другим, сказал:

– Фонвизин, Артур Владимирович. Старый, всеми нами, его современниками, уважаемый и давно любимый художник. Великий акварелист.

– Так он жив? – я, вмиг встрепенувшись, был искренне поражён.

– Ну конечно! И ждёт тебя в гости к себе. Чем скорее у него ты появишься, тем, Володя, лучше будет, и для него, человека не очень здорового, перенёсшего операцию сложную, и для тебя. Довольно большая редкость, чтобы так вот он вдруг воспылал желанием повидаться с молодым, известным поэтом. Живёт он уединённо. Долго и тяжело болел. Теперь ему, вроде бы, лучше. Да вот, пожалуйста, номер его телефона и адрес домашний, – Гена привычно потянулся к лежащей на столике возле старого телефонного, в мелких трещинках, аппарата записной, объёмистой, пухлой, со вкладками всякими, книжке. – Позвони ему обязательно. Поскорее. Да прямо сейчас, если хочешь, от нас, позвони!

– Боже мой! – изумившись услышанному, только-то и сказал я. – Подожди, пожалуйста, Гена. Дай спокойно мне всё осознать. Это прямо как весть неожиданная из другого, нездешнего мира. Надо же! Вот ведь как, всё-таки, в жизни бывает. Фонвизин. Авангард. Начало двадцатого века. Новейшая живопись. «Голубая роза». Какой мастер! Я почему-то давно уже, сам не знаю, почему получилось так, видно, ум за разум зашёл, ну, да что теперь говорить о нелепости, что гадать, считал его светлой легендой искусства нашего русского. А он, безусловно, легенда, но ещё и реальность, наш соотечественник, современник выдающийся, просто волшебник в акварелях своих, несравненных, так считаю я твёрдо, – жив.

– Да-да, – рассудительно, сдержанно и грустно сказал мне Гена. – Он прямо-таки случайно, просто чудом выжить сумел в трудные, для него и для всех вокруг, времена. Поразительно стойкий, цельный, очень чистый, святой человек. А какой удивительный дар! Ах, какой ведь сказочный, детский, волшебный, радостный дар! – Гена опять, похоже, занервничал, заволновался. – Ты непременно, Володя, позвони ему. Я обещал, что скоро ты сам позвонишь. И приходи к нему. Сам увидишь и сам поймёшь, я знаю, кто это такой. Господи! – перекрестился он на икону в углу, – дай Бог ему впредь здоровья. Таких ведь, такого ранга, художников, мастеров, как он, раз-два и обчёлся. А то и меньше. Пожалуй, такой он на свете – один.

Постепенно осознавая важность Гениного сообщения, я присел на скрипучий стул, достал пачку «Примы», слегка измятую, вынул оттуда сигарету, потом нашарил в кармане спички, потом чиркнул спичкой, взглянул на горящий огонёк её, жаркий, упрямый, подбирающийся всё ближе, всё поспешней к моим, ощущающим этот жар, этот пыл неуёмный пальцам, вздрогнул невольно, поднёс к сигарете краешек пламени, покачнувшийся, но рванувшийся прямо к цели, вверх, поднапрягшийся в этом быстром рывке, достигший апогея, – и закурил.

Собака, взглянув на меня понимающе, очень серьёзно, подошла и легла, устроившись поудобнее, так, что я почувствовал сразу тепло шерсти плотной её, у ног моих, близко, рядышком, на полу, потянулась и молча затихла.

– Поставлю-ка я, пожалуй, друзья мои милые, чай! – произнесла, улыбнувшись мне и Гене, а также собаке, да ещё и всему на свете, благо свет этот всё же хорош, уж во всяком случае здесь, в мастерской, защищённой свыше от невзгод и от бед мирских, в мастерской, с её атмосферой благодатной, спокойной, творческой, в мастерской, цитадели старой, где всегда на душе становится хорошо, доброй феей глядя на меня и на Гену, Маша и прошла в закуток хозяйственный, вроде кухоньки, небольшой, но удобной вполне, к плите.

Я рассеянно ей кивнул.

Гена ей тоже кивнул. А потом на своём, особом каком-то, кресле-тележке, подъехал ко мне поближе и, уже спокойно, без всяческих восклицаний, миролюбиво, негромко и просто сказал:

– Я вижу, ты всё, Володя, принял к сведению и понял.

Я покосился, поёжившись, на огромного, высоченного, прямого, как правда сама, да ещё и грустно-задумчивого, как воспетая им не единожды природа прекрасная русская, писателя знаменитого и человека хорошего, бородатого, с ясным умом и доверчивым взглядом, Тургенева, изваянного вдохновенным, в работе неистовым Геней.

– Может, мне к Фонвизину в гости с ребятами лучше пойти? – неуверенно, хрипловато, спросил я зачем-то вдруг сам не знаю кого, то ли вставшего великаном былинным Тургенева, добродушного, впрочем, домашнего, как и всё в мастерской, похожего на зашедшего на огонёк, чтоб друзей навестить старинных, покалякать с ними немного, человека из наших, творческого, ненавязчивого, воспитанного, в годы бед на прочность испытанного, само собою, надёжного, не из лёгких, достаточно сложного, но зато и всегда интересного для людей, то ли друга-скульптора. – Не будет ли это, Гена, с моей стороны эгоизмом? Такая чудесная встреча предстоит впереди, а я, выходит, один пойду. Ребята наши, смогисты, могут ведь и обидеться.

– Ну вот, пожалуйста, я так и знал, – улыбнулся Гена. – Узнаю Володю Алейникова. Ему тут же хочется, чтобы и друзьям-товарищам было интересно. Всё ясно с тобой. Раз уж ты такой по натуре своей, то, так уж и быть, возьми с собою, пожалуй, кого-нибудь. Но кого? – он задумался на секунду. Вертикальная складка-морщинка, начинаясь от переносицы, поползла к волосам, прорезала, глубоко, свободно, размашисто, его чистый, высокий лоб. – Губанова, может? Нет, нет. Не надо. Знаешь, кого? – он оживился. – Возьми с собой Михалика Соколова. Его-то возьми обязательно. Ведь вы с ним искусствоведы. Историки молодые мирового искусства! – подчеркнул он, подняв длинный палец.

– Бывшие! – уточнил я зачем-то, кратко и грустно.

– Нет! – сказал Гена очень твёрдо. – Вот увидишь, всё образуется. Я знаю. Я в это верю. Вы оба будете снова учиться в университете.

– Спасибо на добром слове! – сказал ему искренне я.

Маша, как и положено доброй фее из сказки, а также Гениной верной супруге, да ещё и внимательной, милой женщине, принесла кипяток в жестяном, большом, пышущем жаром чайнике.

Цветастый, пузатенький, маленький заварной фаянсовый чайничек, в который были насыпаны щедрой её рукою несколько ложечек чёрного пахучего чая индийского из жёлтой, полураскрытой, плотно заполненной пачки со слонем, зачем-то на пачке нарисованным, экзотическим, но ещё и очень московским, узнаваемым всеми, любимым, призывающим к чаепитию всем приветливым видом своим, накрыла сверху она симпатичной пухлой подушечкой.

Принесла она и поставила на столе стаканы гранёные, сахар, баранки и пряники в керамической светленькой плошке.

Мы стали – втроём – пить чай.

Хорошо мне было всегда у друзей моих, Бессарабских.

И чаёвничать с ними было мне, измотавшемуся, хорошо.

Гена очень любил стихи мои. Заботился обо мне.

Мы частенько вдвоём с ним беседовали.

При свече вечерней, горящей так уютно и так значительно, что не слышен был за стеною разгулявшийся ветер северный, а слышны были наши искренние, доверительные слова.

При свете дневном, прорывающемся в мастерскую из окон, струящемся по лицам нашим, заглядывающим исподволь нам в глаза.

Мы беседовали – и время раскрывалось книгою старой перед нами, двумя друзьями, и пространство то вдруг сжималось, то негладанно распрямлялось, уводя нас в такие дали, и в глубины такие, и выси, где извечные звёзды вставали над судьбами нашими, разными, грустными, но и прекрасными.

После очередного из выступлений СМОГа, многолюдного и опасного, по причине гонений, для нас, Гена мне тихо сказал:

– А ты так читал, Володя, раскинув крыльями руки! Так читал! Я был потрясён. Я плакал. Я видел Христа.

Меня однажды он вылепил – молодого совсем, раскинувшего, крестом или крыльями, руки, читающего вдохновенно, с закинутой головою, молодые свои стихи.

Время шло – по своим законам.

По своим, неизменным, правилам.

Или, может, вовсе не шло никуда, а существовало, как положено существовать в мире, сложном настолько, что мы вряд ли скоро во всём разберёмся, находящемся в нём, живущем, существующем, вопреки всем наукам официальным, всем догадкам, домыслам всем, прежним, нынешним и грядущим, как положено, говорю я, во вселенной существовать непостижной этой материи.

Ибо время, да, господа, вместе с дамами, все на свете, несомненно, материально.

Ибо время – сама материя.

Так всегда говорили древние.

Так и есть. Так и будет – всегда.

Напившись крепкого чаю с хрустящими на зубах баранками и медовыми, удивительно вкусными пряниками в мастерской у друзей Бессарабских, переписал я старательно телефон и адрес Фонвизина в записную книжку свою и твёрдо пообещал Гене и Маше в самое ближайшее время приехать к старому, знаменитому, ждущему встречи со мною, да ещё поскорее, надо же, почему поскорее, наверное, для него это важно, художнику.

И позвонил Фонвизину.

И услышал тогда, изумляясь энергии светлой, сразу же ощущаемой в речи художника, в каждом слове, в любой интонации, приветливый, тихий голос художника, голос эпохи свершений, открытий, событий в искусстве русском новейшем, голос давней его правоты, голос подвига многолетнего, подвижничества, затворничества, голос празднества, озаряющего все труды его, все страдания, все надежды, все беды, все радости, голос таинства и волшебства.

И услышал такие слова:

– Я жду. Приезжайте, Володя!

И увидел его – каким-то фантастическим, внутренним зрением: старенького, седого, невысокого, переполненного ясным светом, в сияние рвущемся, поднимающееся над ним.

Почему вдруг увидел – не знаю.

Так случилось. Теперь – понимаю.

И былому – безмолвно внимаю.

Был он – светом искусства храним.

Был он – соткан из этого света.

Создан был – сберечь в мире свет.

Был – вопросом сплошным. Без ответа.

Отыскался лишь позже ответ.

Был – видением. На расстоянии.

Был – свидетелем прежних времён.

Был – хранителем света. Сиянья.

В звёздном перечне славных имён.

Дай Бог силы простым словам!

Я сказал:

– Я приеду к вам.

И вскоре к нему приехал, вместе с другом своим тогдашним и товарищем верным по СМОГу, Михаликом Соколовым.

Принял нас Фонвизин приветливо.

Даже больше – очень приветливо.

Можно сказать – по-дружески.

Или – почти по-свойски.

Почему? Да кто его знает!

Видно, рад он был нам с Михаликом.

Видно, сам нуждался в общении.

Хорошем. Полезном. Творческом.

Потому и встретил он нас вовсе не как незнакомцев, неизвестно кого и откуда, но как добрых своих друзей.

*Так бывает. Сам это знаю.
Не раз я такое испытывал.
Общение – как причащение.
Прикосновение бережное.
К великим тайнам души.
К загадкам сердца живого.
И даже к нитям судьбы.
Незримым порою. Но явственным.
Ощущаемым по наитию.
Общение – не событие.
Общение – озарение.
Искреннее дарение.
Мыслей. Времени. Слов.
Собеседнику. Доброму другу.
Общение – словно кров.
Посреди вселенского круга.*

Сам я почувствовал вдруг, что будто бы знаю Фонвизина, которого видел впервые, долго, давным-давно.

Значит, было так суждено.

И Фонвизин вёл себя так, словно мы с ним буквально вчера, даже, может, сегодня, расстались, на какое-то время, короткое, разумеется, пообещав перед этим как можно скорее созвониться с ним снова и встретиться.

Прямо с порога, радуясь возможности поговорить с молодыми людьми, современниками своими, искусствоведами, смогистами и поэтами, засыпал обоях нас бесчисленными вопросами.

СМОГ! Ну так ему нравилось, что был на московских просторах наш неистовый СМОГ!

Что напоминало ему, человеку, выдавшему виды, прошедшему школу жизненную суровую, сохранившему верность своим принципам и установкам творческим, уцелевшему в невзгодах и в бедах, которых на долю его немало выпало, что же поделаться, в прежние времена, с пути своего ни разу не свернувшему никогда, каковы бы ни были всякие, даже сложные, обстоятельства, какие бы там зигзаги и петли, порой немыслимые, ни вытворяла трудная, спираль свою наконец распрямившая, чтобы сызнова жить ему и работать, судьба, его собственную, прекрасную, тоже бурную, даже сумбурную, переполненную событиями, и открытиями, и наитиями, и прозрениями, вдохновенную, небывало светлую молодость.

Выставки. Сколько их было – и в Москве, и, конечно, в Питере, когда-то, в начале века двадцатого, сколько их, выставок авангардной, новейшей живописи потрясли умы и сердца российской, с трудом привыкавшей к новизне этой праздничной, публике!

Чтения. То стихов, то прозы. Авторы слушали внимательно, даже восторженно, принимали их творчество или решительно не принимали, но слушали, размышляли, стараясь понять, приветствовали появление их долгожданное, желанное, перед людьми.

Объединения разные молодых, интересных, ищущих свои дороги в искусстве современном, способных, нередко талантливых, ослепительно, изумительных, русских, наших, не французских или немецких, нет, отечественных, собравшихся под знамёнами творчества, щедрого, свободного, только так, и никак иначе, художников.

Кипение жизни. С выплесками через край. Кипение. Бурное – это мало сказать. Стремительное. Клокочущее. Восхитительное.

*Страсти. Как же без них!
Ещё и какие! Нешуточные.
Страсти – везде и во всём.
Огненным колесом –
по городам и весям.
С безднами. С поднебесьем.
С ворохом новостей.
Сколько их было, страстей!*

Схватки между различными, враждовавшими между собою, напоказ, а на самом деле занятыми трудами своими, с врагами мнимыми дружившими, группировками.

*Футуристы. Бурлюк. Маяковский.
Гениальный, тишайший Хлебников.
Кручёный-верчёный Кручёных.
И прочие. Футуристы.
Подлинные артисты!
Размалёванная щека.
Взгляд, уставленный в облака.
Жесты. Выкрики. Эпатаж.
Обыватель, входящий в раж.
На бумаге шершавой – книги.
Информация – в каждом миге.
Что ни вечер – парад планет.
Живописец. За ним – поэт.
За поэтом – с боку припёка.
Грустный взгляд молодого Блока.
Северянин: вино, цветы.
Над Невою – дворцы, мосты.
Над Москвою-рекой – сады.
Ночи белые у воды.
Грозы летние над Кремлём.
Слово, вставшее за числом.
За кометою – бурь череда.
Голос Хлебникова? Ну да.
Революция? Вот беда!
Багровеющая звезда.
Но – шампанского в свой бокал.
Но – букеты. Страстей накал.
Страсти – всюду. Ну впрямь – напасть?
Радость. Праздничность. Весть. И власть.
Власть. И – подлинность. Весть. И – честь.*

*Вот что – было. И вот что – есть.
 Есть – искусство. Его творцы.
 Есть – новаторы. Храбрецы.
 Есть. Останутся. Навсегда.
 Не забудутся – никогда.
 В каждом имени – свет и суть.
 В каждом времени – взлёт и путь.
 В каждом пламени – прок и жар.
 В каждом знамени – век и дар.
 «Бубновый валет». – «Ослиный хвост». – «Голубая роза».
 Воображение. Празднество. Поэзия, а не проза.
 Мастерство. Торжество вдохновения.
 Присутствие волшебства.
 Вечные дерзновения
 Шлейфом сквозь век – молва.
 Друзья. Золотые. Надёжные.
 Верные. Настоящие.
 Прославленные художники.
 Чудеса в искусстве творящие.
 Истовое горение.
 Что там? Века? Мгновения?
 Не для таких – старение.
 Не для таких – забвение.*

Арагоценнейший, незабвенный друг в года молодые, Миша Ларионов, свыше отмеченный человек, наделённый даром удивительно щедрым, свежим, непокорным, великий художник!

И Фонвизин тут же, взволнованный тем, что нам увлечённо рассказывал, отправлялся за перегородку, где высокими штабелями, нет, скорее внушительной горкою, достающей почти до светлого, невысокого потолка, лежали большие, тяжёлые, прочные папки с его собственными акварелями и прочими, разных авторов, созданными в былые, добрые времена, для него дорогими доселе и ценными им всё более, всё пристрастнее, произведениями нашего авангардного отечественного искусства, им собранными когда-то и тщательно сохраняемыми, – и вытаскивал вдруг оттуда дивные, слова другого не подберу я, маленькие, да удаленькие, как говорят в народе, это уж точно, можно так вот сказать, жемчужинами тёплыми оживающие на глазах моих, изумлённых явлением чуда среди белого московского дня, на склоне жаркого мая, воочию увиденные вот здесь, рядом, холсты Ларионова.

Ранний, ещё тираспольский, период его, – пейзажи импрессионистские, лёгкие, воздушные, многоцветные.

Потом – пейзажи уже московские, экспрессивные, лаконичные, с удивительно метко схваченным, разнообразным, городским, импульсивным движением, – конные чьи-то выезды на фоне ампирных, жёлтых, с колоннами белыми, домиков, человеческие фигурки, приметы огромного, древнего, с лицом своим, узнаваемым немедленно, многогранного, полнозвучного, с различаемой чутким слухом художника, к зрению подключённым, полифоничной, как у Баха, пленительной музыкой холмистого, чуть лубочного, пряничного, леденцового, ярмарочного, торгового, дворянского, делового, сказочного, в садах Семирамидиных, с башнями узорчатыми, в изразцовой пестроте, в пустоте

переулков, блеске стёкол оконных, в снегах или в лиственном шелесте, города, заметки для памяти беглые, смещения пятен, штрихи, акценты, символы, знаки, слегка размытые, вроде бы, но, вместе с тем, и точнейшие, обобщённые и вовлечённые в общее, непрерывное, круговое, сплошное движение.

Потом Фонвизин показывал нам свои акварели. Зазвучали они – свидетельствую – заговорили, запели.

*Задышали тайнами давними.
 Дивной музыкой отозвались.
 Были вещи не просто славными.
 Уникальными оказались.
 Боже мой! Сколько их! Фантастика с волшебством, уютным,
 домашним.
 День сегодняшний впал в прострацию. Оказался он днём вчерашним.
 Перепутал года, столетия. Пообщаться успел с грядущим.
 Заглянул на бегу к товарищам, в эмпиреях чего-то ждущим.
 Вещи были необъяснимыми в красоте своей несказанной.
 То казались тихой скрипкою, то патетикою органной.
 Было вдосталь в них светлой лирики. В них печаль головой качала.
 Но мерещилась в них трагедия и эпическое начало.
 Эпос был в стороне. Как будто бы. Но высвечивался порою.
 За роскошеством света свежего. За романтикой. За игрою.
 Эпос жил в цветовой гармонии.
 В сочетаниях звонких красок.
 В драме смутной. Почти в агонии.
 Там, за гранью волшебных сказок.
 Время твёрдой печатью грохнуло по листам, где цвела наивность.
 Время ахнуло вдруг и охнуло, не надеясь на взаимность.
 Но опомнилось и одумалось, подобрело, пошло навстречу.
 Только вспыхнули, как созвездия, за окошками чьи-то свечи.
 То ли снег повалил за стенами, то ли дождь прошумел по крыше.
 За признаньями откровенными встали речи – и стало тише.
 На свирели своей наигрывать попыталась весна благая.
 Вслед за летом явилась осень, осознать себя помогая.
 О сезоны, о замки! Чары.
 Озарения. Бес в ребро.
 Путешествия. Ньюфаеры.
 За Верленом – Артур Рембо.
 Карнавальная заваруха.
 Эпохальная кутерьма.
 Полумаски. Паренье духа.
 Гипнотическая чума.
 Пир. Застолье. Напитки. Яства.
 Шаг до гибели. Шрам у рта.
 И неслыханные богатства.
 И повальная нищета.
 Цирковые – сквозь сон – мотивы.
 «Голубая роза». Гроза.
 Близко. Рядом. Но грёзы – живы.
 И слезами полны глаза.*

Доставал из своих запасов мастер старый и более поздние акварели. Портретов серии. Замечательные. Серьёзные.

С тем «чуть-чуть», что искусство делает. С неким сдвигом – в сторону, к сказке.

С неким жестом – в сторону детства. С шагом, сделанным без опаски.

К чуду. К тайне. К тому, что движет и светилками, и сердцами.

Что, как бусы, мгновенья нижет на иглу – и уйдёт с концами.

Если, впрочем, его не вспомнить.

Не сберечь, как подарок странный.

Если душу им не заполнитъ.

В яви – может быть, окаянной.

В той действительности, что хочет растоптать все приметы чуда.

Что талдычит своё, бормочет, что твердит своё – отовсюду.

Не удастся ей утвердиться в настоящей, великой яви.

Той, с которой сердце биться не устанет, молчать не вправе.

Потому-то в цветах и в лицах схожесть есть с чем-то свыше данным.

И оправдано это жизнью. И не кажется это странным.

Показал нам Фонвизин портрет, удивительно сильный, Татлина, увлечённо и отрешённо играющего на бандуре и задумчиво что-то поющего.

Татлин был его давним другом.

– Поразительно был талантливый человек! – говорил Фонвизин. – Принято ведь не случайно в народе таких называть – мастер на все (заметьте, всего-то их две, а кажется, как будто бы много их, рук, способных творить сплошные чудеса на земле), золотые, полагаю доселе, руки. Живописец отменный просто. Фантазёр. «Тайновидец лопастей», как сказал однажды о нём пронзительный друг его Хлебников. Уникальный, сверхсовременный, далеко наперёд глядящий, прозревающий там такое, что другим и не снилось, конструктор. А как он, под настроение, иногда, отрешившись от всех и всего вокруг, погружившись в свои мысли тайные, в чувства, оживавшие в сердце, пел! Сам он сделал себе бандуру. Наподобие старых, но только звучащую так необычно, что порой знатоки гадали, что же это за инструмент. И с нею, своею бандурой, буквально пешком, как встарь бродячие бандуристы ходили по Украине, обошёл не спеша всю Европу. Даже, кто мог бы подумать, пел он перед английской королевой старинные песни украинские, древние думы. И за пение это ею был вроде бы удостоен то ли какого-то звания, то ли высокого титула. С Хлебниковым дружил. Очень его любил. Принимал его, понимал и ценил, как никто другой. Много в них было общего. И прежде всего – горение. Творческое. Великое. Щедрое. Многоликое. На заре советской, диковинной, непривычной для большинства и ужасной для многих, власти, был Татлин одним из ведущих, передовых, авангардных, само собою, художников. Был великим изобретателем. В отличие от бесчисленных, безликих приобретателей. О чём совершенно точно говорил гениальный Хлебников. Изобретатель – это новых высот обретатель. За всех современников, может быть, перед Богом лучший предстатель. Чего, согласитесь-ка, стоит одна его знаменитая, ни на что не похожая, башня Третьего, да всё равно ведь, какой он по счёту, хоть сотый, интернационала. А «летатлин» его уникальный! Тяга к небу в крови была у него, человека таинственного, в своём роде, наверно, единственного. Другого такого я не встречал никогда и не знал. Много мог бы ещё он сделать

в искусстве нашем. Но стали его зажимать. Хуже: буквально травить. В условиях невыносимых в итоге его поставили. Сопrotивлялся Татлин гонениям и невзгодам, как мог. Но загнали в угол редкостного человека. Он замкнулся. Стал нелюдимым. Странился сборищ советских. Жил затворником. Выживал, как умел. Годами держался. На упрямстве, на воле своей. Но бывали и у него состояния просто аховые. Отчаяние – штукавина ужасная. Безысходность измучит кого угодно. Любого титана изранит грызущая сердце тоска. Ведь работал он – на века. Но работать ему – не давали. Сознательно – уничижали. Принижали его значение, унижали охотно его. Угрожали расправой скорой. Счёты с ним сводили за чем-то, всею сворой, и власти кровавые, и приспешники их услужливые, нечисть всякая, псевдохудожники, борзописцы. Татлин страдал. Он даже хотел пожечь все свои произведения, чтобы «им», как он выражался, то есть хищным советским властям, ничего вообще не оставить. Как-то всё-таки уцелел. Не убили его, не сгноили в лагерях. Поступили – страшнее. При жизни – словно забыли. Нет и не было такового! – где-то, видно, постановили. Всех устроило это жестокое, приказное распоряжение. Татлин, вроде бы, жив – но его, вроде, нет. Живёт – без движения: ввысь и вдаль, как в былые годы, вглубь и к сути. Живёт – молчит. Прозябает в своём закуте. Наплевать, что душа кричит. Захотели – постановили: человека такого – нет. Дышит всё-таки? Затравили? И не мил ему белый свет? Ничего. Перебьётся. То-то рад, небось, что остался жив. И к чему нам его щедроты? И его – к небесам – порыв? Так, наверное, рассуждали. Осуждали. Корили. Впрок. Золотые померкли дали. Татлин жил, словно между строк – мысль крамольная, откровенье – в примечаниях чьих-то. Был – воплощённое дерзновение. Был – трудягой. Жизнь – любил. Для театра довольно много он работал. Слава его не погибла. Ведь дар – от Бога. В этом – радость и торжество. Написал я его, играющим на бандуре, задумчивым, грустным. Написал его я – выживающим. Уцелевшим. Хранимым искусством. Жил он даже не уединённо, а, вполне, полагаю, сознательно, закрыто, слишком уж замкнуто. Возможно, в этом затворе легче было ему дышать. А может быть, он привык с годами всех сторониться. Живая легенда? Конечно. Пускай не для всех. Но – живая. Одинокий, отважный, ранимый, таинственный человек. Опередивший свой век. Умер он до боли нелепо. Отравился консервами рыбными. Лежал у себя в мастерской. Мучился. Был не в силах подняться, позвать на помощь. Никто к нему не зашёл. Никто его, тайновидца легендарного, изобретателя уникального, человека леонардовского размаха и возможностей необычайных, бесконечных, тогда не спас. Так и помер он – в муках, в своём затянувшемся одиночестве. Трагедия? Безусловно. К сожаленью, одна из многих. Победа над смертью? Да. И – над властью. И – над забвением. Добра победа – над злом. Победа искусства подлинного – над мирскою нечистью всяческой. Торжество несомненное прави вселенской над навью. Великое сияние истины. Яви. Правоты высочайшей труда. Веры. Любви. И надежды. Так скажу я сегодня вам. Татлин был моим другом. И этим тоже всё, наверное, сказано. Человеком был он – редчайшим. По всем своим дарованиям. По достоинствам всем человеческим. Тайновидцем. Хлебников прав. Тайновидцем. Тайну его жизни трудной и несравненного, в мире нет ничего подобного, да и вряд ли будет, искусства – всем придётся долго разгадывать. Вот смотрю я на этот портрет – и голос Татлина слышу, поющего думы народные. О чём они, эти думы? О многом. Нет, обо всём, что дорого человеческой душе и дорого сердцу. О том, что останется в памяти навсегда. Лучше всех сказал об украинских

песнях Николай Васильевич Гоголь. Загляните в его сочинения. Там найдёте вы эту статью о песнях. Невероятное, точнейшее понимание того, что и есть искусство. Татлин об этом – ведал. Видел – сквозь время. Понял – многое из того, что лишь сейчас начинает, понемногу, слегка, открываться человеческим, ищущим верные маяки на пути в искусстве настоящем, зорким глазам.

Фонвизин и в самом деле разговаривал с нами так, словно были мы с ним знакомы и даже дружны, пожалуй, почему бы и нет, бывает и такое, давным-давно.

Мы с Михаликом Соколовым переглядывались порою – и внимательно слушали старого, но зато молодого душой, это поняли мы, художника, – и смотрели, смотрели, смотрели, восхищённо, во все глаза, на сокровища все, которые извлекал он на свет столь щедро, столь радушно и столь открыто, что нельзя было им по-детски непрерывно не изумляться, невозможно было сдержаться и не ринуться, вслед за мастером, несомненным добрым волшебником, в это празднество небывалое, в этот радостный карнавал, в это пиршество духа, с такими ослепительными высотами и глубинами удивительными, что кружились головы наши от роскошества несказанного всех, возможных и невозможных, бесконечных, как жизнь сама во вселенной, цветов и красок, пятен, линий, штрихов, акцентов, недосказанностей, прозрений, всплеск радужных, тихих, вторыми к основным тонам прозвучавших, словно в музыке, гармоничной, полнозвучной, полутонов, звёздных россыпей, отражений всех свечений и всех сияний, всех туманностей, всех галактик, на холстах, на листах бумаги, на картонах, на всём вокруг, на оконных стёклах, на стенах, на взволнованных лицах наших, – и восторженно, благодарно принимали мы эти редкостные, непредвиденные дары, чтобы с майской этой поры и доселе целебный свет нам сбересть, сквозь невзгоды лет, чтобы судьбы он озарил, чтоб сквозь время он говорил о таком, что и впредь спасёт отголоском былых красот.

Незаметно как-то, войдя в ритм особый, как будто в транс, показал нам Фонвизин множество созданных им в различные годы, порою нелёгкие для него, человека, далёкого, от политики, от суеты, от всего, что мешало творчеству, но затронувшие и его жутковатой тенью своей и заставившие когда-то, как пришлось уж, но выживать, порою в более светлые, поспокойнее, вроде бы, с брезжащей надеждой на изменения к лучшему, кажется, всё ведь, согласитесь, возможно, годы, чудных своих акварелей.

Небольшой, даже вроде бы маленький, коренастый, в твёрдых очках со стёклами, чем-то похожими на лабораторные линзы, улыбающийся, по-домашнему, просто и доверительно, хотя в этой улыбке приветливой была ещё и загадка, со своими спокойными, сдержанными, размеренными движениями, почти бесшумными, тихими, как сон, шагами по комнате, плавными, неторопливыми, как взмахи крыла расправленного у птицы, которую держат потоки воздушные, жестами, светящийся чистотой светлейшей, щедрой души, напоминал он то ли волшебника, то ли доброго гнома, то ли ещё кого, но уж точно – из сказок.

И жена у него была славная, улыбающаяся по-доброму, по-домашнему, тоже сдержанная в движениях, плавно движущаяся по комнате, прислушивающаяся к речам своего мужа, к сбивчивым нашим рассказам деликатно, тактично, привычно не вмешиваясь ни во что, словно слегка отодвинувшись от нас, наблюдая за нами вроде бы со стороны, из фонвизинской тени, – которая

была на поверку, если приглядеться, вовсе не тенью, но самым что ни на есть настоящим, негаснущим светом, – но всё абсолютно слышащая, всё видящая и всё надолго запоминающая.

Она угостила нас хорошим, с домашними сладостями вкусными, свежим чаем.

И за столом, смущённые и взволнованные таким приятным гостеприимством, продолжали мы, слово за слово, по-домашнему, задушевно и неспешно, куда ведь спешить, если сладилось всё, беседовать с удивительной этой четой.

Несколько помолодевшему с нами, его молодыми гостями, желанными, в радость бывшими, да к тому же ещё и смогистами, то есть столичными знаменитостями шестидесятых, Артуру Владимировичу так нравилось, что мы, несмотря на сложности брежневского безвременья, сумели объединиться, сплотиться вместе, создать своё содружество творческих, вот что важно, прежде всего и во все времена, людей.

Моё тогдашнее мнение – и нынешнее, и всегдашнее, скажу напрямую, – о том, что среда, по словам Чаадаева, отзывчивая, лишь в такой ведь слово звучит, и это верно, очень важна, целиком совпадало с его давним, собственным мнением, причём опирался он в этом на собственный опыт.

С горечью вспоминал он, как тяжело, в былые годы невзгод повальных, пришлось ему жить в провинции, вынужденно, конечно, долго, словно в изгнании, в стороне от событий всех, вдалеке от всех многочисленных друзей его и знакомых.

Отчасти это отшельничество и спасло его в пору сталинских репрессий. Полузабвение ужасно. Можно сказать смело: ему повезло. Выжил он. Уцелел.

Но сколько же золотых поистине, именно так, и никак не иначе, возможностей дружеского, полноценного, творческого общения безвозвратно были утрачены, и годы ушли, растаяли, их теперь ни за что не вернёшь.

Разбросало его друзей молодости по всей планете, по разным странам. Страны эти для всех оставшихся здесь, на родине, по причинам, всем понятным, закрыты наглухо. Никогда туда не поедешь. Никого там не навестишь.

Многих и нет на свете.

Друг любимейший, верный, Миша Ларионов уехал в Париж, со своей женою, Натальей Гончаровой, уехал, чуя наперёд все невзгоды, все беды, что стубили былую Россию.

Ах, сколько же у него было собрано древних икон, книг, различных произведений народного, несравненного, изумительного искусства, игрушек, одежды, вывесок, прялок, посуды, лубков, сколько работ художников русского авангарда!

Где теперь всё это? Кто скажет?

Наверное, там, в Париже.

Где же ещё ему быть?

И Гончарова, бесспорно, чудная, все это знают, просто великолепная, самобытнейшая художница.

Но друг драгоценный Миша Ларионов – это совсем иного рода явление, человек небывалый, особый.

Это был прирождённый, а также убеждённый, неугомонный, артистичный, азартный, рискованный и отчаянный заводила.

Настоящий, чистой воды, как алмаз уникальный, лидер.

Его новизной поражающие, бесчисленные идеи вызывали к жизни порою целые школы, целые художественные течения.

И славные годы дружбы с ним для Фонвизина так и остались доселе самыми лучшими, дорогими воспоминаниями.

Вот о чём, если вкратце, пунктиром, и не более, нынче сказать, без подробностей, без деталей характерных, без ощущений, мимолётных и более стойких, от всего, что вставало вокруг ореолом светящимся, шлейфом возникало, тянулось вдаль, воскрешало связи незримые, укрепляло духовные нити, возвышалось, подобно сиянию, над словами, над акварелями, порывалось вернуться назад, уводило куда-то вперёд, к неизведанным высям, дышало правотою искусства, когда-то, майским, солнечным, жарким днём, в середине шестидесятых, говорил с нами добрый волшебник и великий художник, Фонвизин.

А надеюсь, что, может быть, в будущем, если это удастся, кто знает ведь, как ведёт за собою речь, как мои появляются книги, я и сам не знаю, и только жду смиренно голоса свыше, звука жду всегда изначального, за которым приходит вся музыка, ритм приходит, пластика, строй, чтобы внутренним зрением видеть книгу, словно соты пчелиные, чтобы следовать вновь за речью, и она-то сама и сложит книгу новую, соберёт, образует единство некое звуков, красок, мыслей и слов, я ещё расскажу о своём общении с ним поподробнее.

А пока что, покуда нынешняя продолжается книга, и в ней тоже всё же кое-что сказано, согласитесь со мной, – вот о чём.

Ещё во время порывистых, импульсивных, то с отступлениями куда-то в далёкое прошлое, то с новыми возвращениями в настоящее, то с неожиданными обобщениями и того, и другого, длящихся на протяжении светлого, жаркого майского дня, с просмотром работ, с чаепитием неспешным, совсем домашним, с вопросами и ответами бесцётными, наших бесед, я заметил, слегка смутившись и несколько озадачившись, гадая, к чему бы такое повышенное внимание к особе моей, что Фонвизин всё время ко мне присматривается.

А когда мы уже собирались уходить и тепло прощались в прихожей с четой лебединой Фонвизиных, – именно так, лебединой, такими они для меня и когда-то были, и остались доселе в памяти лебединой чудесной четой, – сквозь года, с их сумбуром и бредом, с изнурительной хмарью бесчестия, с бестолковщиной междувременья, – подошёл он ко мне и сказал:

– Володя, пожалуйста, вы приходите ко мне. Поскорее! Я очень хочу, поймайте меня, написать ваш портрет!

Я сказал, что приду непременно.

И пришёл к нему вскоре снова, созвонившись, уже один.

А знал, что Фонвизин долго и тяжело болел.

Ему, художнику, зрение для которого было всем, было первой необходимостью, было жизнью, было работой, угрожала полнейшая, страшная, безысходная слепота.

Но ему повезло, по счастью, может – чудом, а может быть – выпало так ему по судьбе, – ему, человеку, живущему творчеством и не мыслившему себя, на мгновение даже, без творчества, сделали операцию глазную врачи, сложнейшую, удачную, и теперь он снова обрёл зрение.

Очень долго был он лишён возможности рисовать.

А бездействовать – это трагедия, хуже гибели, для него.

Всю жизнь он только и делал, что рисовал, рисовал.

Работал он постоянно, работал целенаправленно.

Трудился. Все вещи – в труде.

И – верил своей звезде.

В этом было его спасение.

В этом вся его жизнь была.

И теперь вот, слава Создателю, после долгого перерыва, он, как и прежде, сызнова намеревался работать.

Был настроен весьма решительно.

Втянуться в труды, войти в рабочий спасительный ритм, как можно скорее, во что бы то ни стало, взять себя в руки, взять в руки, к работе рвущиеся упорно, кисти и краски, радоваться возвращению зрения, рисовать!

Об этом он только и думал.

Так он мне об этом сказал.

И первой его работой, после дара свыше чудесного, для него, возвращения зрения, – должен был стать мой портрет.

Фонвизин вначале, подумав, походив немного по комнате, побурчав что-то, может – волшебное слово знал и его произнёс, призывая удачу, к себе, человеку, обретшему зрение, для трудов своих, и, возможно, для меня, человека, которого собирався он рисовать, усадил меня, очень точно и умело, напротив себя, так, чтобы свет, врывающийся к нам из окна, из мая, солнечного и жаркого, золотистый, прозрачный, падал на лицо моё, посмотрел на меня одобрительно, дружески улыбнулся, слегка сощурившись, и остался доволен, вроде бы, всем, и светом, и маем, и мною, в этом свете, с моей рыжиною в шевелюре, с глазами зелёными, непокорными скифскими скулами, крупным носом, клочьями острыми, лбом высоким, плечами широкими, стройным, очень худым, в ту пору, и совсем ещё молодым, но уже знаменитым поэтом.

Приготовил потом акварельные краски, мягкие, лёгкие кисти.

Закрепил на твёрдой подставке, несколько под углом, лист бумаги перед собою.

И сказал мне:

– Володя, пожалуйста, почитайте мне, прямо сейчас, да побольше, свои стихи! Они мне, поверьте на слово, запали в душу и так, с каждым днём всё сильнее, нравятся! Вы просто сидите рядом и читайте, сколько хотите. А я стану слушать вас внимательно – и рисовать.

И стал я ему – читать.

Иногда, приоткрыв глаза, я посматривал на Фонвизина – и с изумлением видел, что он, держа на отлёте кисть в своей небольшой, но крепкой и привыкшей к работе, руке, вслушиваясь в стихи, льющиеся потоком, возникающие спонтанно, потому что читал я тогда не с листа, но по памяти, просто что в голову вдруг придёт, что вспомнится прямо по ходу привычного чтения-пения, свойственного когда-то мне в молодости, в период СМОГа, в шестидесятых, – и сейчас, в моих зрелых годах, видимо, неповторимого, давно уже отзвучавшего, толком никем не записанного, так что осталось только, рассуждая о нём, вздыхать, да рукою махнуть, мол, чего там сожалеть об ушедшем, ну, было, да куда-то со временем сплыло, да смотреть за окно, где клубятся над Святою горой облака в киммерийских осенних высотах, да кружится вокруг золотая, с беспокойным багрянцем, листва,

да какая-то птица, упрямясь, на заре всё поёт и поёт, не желая смиряться с грядущей, подступающей, не за горами, из-за гор, из-за бурых и сизых, серебром полны подёрнутых и туманом лиловых не скрытых от усталого взгляда, холмов, ожидаемой, словно сражение неизбежное, новой зимой, – не просто вошёл в состояние, близкое к моему, то есть в транс, но буквально врос, как дерево, с корнями, в слух.

Сам он стал – абсолютным слухом.

Ему важен был – звук, да, звук, звук тогдашний моих стихов.

Он так внимательно слушал, что я, перед ним читающий, в кои-то веки, стихи свои, не на шутку разволновался.

Но читал и читал опять, уже и сам, незаметно, втянувшись в звучание-пение давних своих стихов, как и всегда, в ту пору, сизнова их, возникающих из сердца и ясного света, переживая при чтении, читал, находясь в своём, внутреннем, сокровенном, приоткрытом для песен, мире, в своей, такой, какова была она встарь, да и впредь будет, надеюсь, музыке.

Фонвизин всё слушал и слушал.

И потом я увидел, что к слуху его подключилось уже и зрение. Глаза, напряжённо глядящие на меня, прямо-таки сверкнули внезапно из-под очков.

Он – прозрел, я уверен был в этом, нечто важное для себя.

И вот рука его плавно, свободно взмахнула кистью, и на бумагу белую легло цветное пятно.

Потом – ещё взмах рукою, широкий, ещё и ещё.

Плавные, дугообразные, мастерские, точнейшие, одно за другим, движения.

Раз – и цветная точка вспыхнула на листе.

Раз – и цветастый потёк.

Раз – и воздушный штрих.

Раз – и два отдельных пятна разноцветных вместе сливаются.

Но я стоял перед выбором – или мне наблюдать за работой художника, или всё же читать продолжать стихи.

И я читал, увлечённый стихией речи, ведущей меня за собою, дальше, лишь изредка, краем зрения, всё-таки замечая, что Фонвизин, весь там, в бескрайней, расплёснутой по квартире, словно свет золотистый, музыке молодых моих, полнозвучных, колдовских, отчасти, стихов, но и здесь, перед белым листом бумаги, вроде бы медленно, незаметно, исподволь как-то, естественно, без напряжения чрезмерного, тоже колдует над акварелью своей.

Аумаю всё же, что некий взаимообмен энергиями, благотворными, жизнелюбивыми, таинственными, тогда образовался у нас.

Энергию – не заметишь, как положим, заметить можно цвет, или взгляд исподлобья, или какой-то предмет.

Энергию – не услышишь, как звук, любой, из бессчётного числа их в звучащем, вибрирующем, распахнутом слуху мире.

Энергию – не предскажешь.

Её можно только почувствовать.

Возникает она нежданно.

Существует сама по себе.

Независимо от остальных, разнообразных энергий.

Но и прочно связана с ними.

Как? Никто не ответит на это.

Но связь эту – мы ощущаем.

Как и каждую, по отдельности, ощущаемую энергию.

Словом, энергия – тайна.

Постижение её – впереди.

Всё у нас – не случайно.

Всё – и в памяти, и в груди.

Токи, сплошным потоком исходившие от меня, от голоса моего, воспринимал он чутко, усваивал их мгновенно – и тут же, в ту же секунду, посылал мне уже свои токи, и я ощущал, всей кожей, и хребтом, и всем естеством своим, прикосновение неких, световых, не иначе, лучей, и мы с художником словно перекидывали друг другу свою личную, щедрую, собственную, но способную вдохновлять и поддерживать многих, энергию: я ему – звучащее слово, речь мою, он мне – слух свой и зрение, и возникало в итоге ощущение общего трансa, и моего, и фонвизинского, да так ведь оно и было, и пленительное, удивительное, ни на что не похожее чувство свободного, только так, восхитительного полёта во времени и пространстве сопутствовало непрерывно мне в моём тогдашнем, сроднившемся с бесконечной музыкой чтении, и нам как-то очень приятно, по-человечески, просто хорошо было, нет, чудесно, замечательно находиться наедине друг с другом, друг напротив друга, рядом, быть обоим – в работе, в труде, и я чувствовал, что таящаяся в стихах моих сила внутренняя помогает сейчас художнику, настраивает его на нужный, особый лад, вдохновляет его, окрыляет, и он работал, работал, увлечённо, самозабвенно, и точно так же тогда, весь во власти звучащей речи, я читал, читал и читал.

Читал я долго. Не знаю, сколько. Может быть, час. А может, и значительно дольше. Конечно, дольше.

И ровно столько же времени работал тогда и Фонвизин.

И вот, представьте себе, именно в тот, назревший непредвиденно как-то, миг, когда я внезапно почувствовал, что уже не просто слегка утомился, а очень устал, он сказал решительно:

– Всё!

И отложил кисть.

А, усталый, молча сидел напротив него – и, не сразу привыкая к молчанию этому, приходил помаленьку в себя.

Фонвизин взгляделся пристально в свою, довольно большую, только что им написанную, свежую акварель.

И сказал, по-рабочему, просто, обращаясь ко мне, смотревшему на него:

– Получилось, Володя!

И сказал, ещё приглядевшись к акварели:

– Да, это вы!

И позвал меня сразу к себе:

– Идите сюда. Посмотрите!

А встал, ощущая себя как на палубе корабельной, когда море штормит, и людей донимает жестокая качка, уставший от всей отзвучавшей, вызванной к жизни мною, вроде бы отодвинувшейся от меня ненадолго, на время,

неизвестно, впрочем, какое, и меня не покинувшей музыки, музыки навсегда, и подошёл к нему.

И увидел великолепную фонвизинскую акварель.

Я увидел на ней себя, с закинутой головою, с глазами полузакрытыми, читающего стихи, вдохновенного, молодого, в золотистом свете, на склоне мая, в конце весны, на грани нового лета.

– Вот, Володя! – сказал мне Фонвизин. – Вы так хорошо мне читали. Это был целый мир, звучащий. Кажется, мне удалось понять его. Вы настоящий поэт, поверьте мне. Вы поэт от Бога. И я нарисовал вас таким вот – настоящим, большим, я знаю это твёрдо, русским поэтом.

Он хотел подарить мне эту превосходную акварель.

Радость, чистая детская радость, от того, что я в одночасье стать могу обладателем этого замечательного портрета своего, на какой-то миг жарким светом прихлынула к сердцу.

Но я, потрянув головою, всё же преодолел блаженный этот порыв.

Я смущённо и в тоже время решительно, пусть и со всей возможной тогда для меня деликатностью, отказался.

– Возьмите работу, Володя! – упорно меня уговаривал, разволновавшись, Фонвизин. – Вы ведь меня окрылили. Я теперь, наконец, снова буду рисовать! Я уже это чувствую. Нет, я это уже твёрдо знаю. Это – ваша работа. Возьмите. Это – вам. Я дарю её – вам.

– Огромное вам спасибо, дорогой мой Артур Владимирович! – сказал я. – Пусть эта работа побудет у вас. Я сейчас бездомничаю. Впереди – не просто неопределённость полная, но скорее полнейшая неизвестность. Акварель эта – чудо, и только. Первокласснейшая. Волшебная. Драгоценна она для меня. Где мне её хранить? Жилья своего, увы, нет у меня в Москве. Да к тому же, скоро я, вынужденный искать от властей защиты у людей, которые мне помогают, кто как, по возможности, благодарен я всем им за это, уезжаю на юг, в экспедицию.

– Но потом, хоть когда-нибудь, вы её возьмёте себе? – спросил у меня Фонвизин.

– Потом, когда всё у меня, даст Бог, уладится в жизни, – может быть, и приму её от вас. Но пока что – пусть находится здесь она, у вас, в доме вашем, вместе с другими работами вашими.

– Ну, хорошо, – согласился Фонвизин. – Пусть ваш портрет, пока что, здесь, у меня, в сохранности полной, до нужного времени, остаётся. Но вы, пожалуйста, помните, что акварель – ваша.

– Не сомневайтесь, Артур Владимирович, – сказал я. – Буду помнить. Всегда буду помнить.

В этот день у него я остался надолго, до позднего вечера.

Поговорить удалось нам на закате весны – о многом.

Было двадцать седьмое мая Змеиногорского, шестьдесят пятого, небывалого, по лавине событий, года.

Из университетского, скучного, но пристанищем временным бывшего и зимой, и весной, общежития, меня, из-за СМОГа отчисленного, со скандалом, из МГУ, разумеется, с треском, выгнали.

Ночевать в Москве было негде.

И опять помогли мне добрые, относящиеся ко мне хорошо, я верил, Герасимовы, генеральская, понимающая, что к чему в этой жизни, семья, – и

на короткое время вернулся я в полюбившуюся мне симпатичную комнату в коммунальной скромной квартире на Автозаводской улице.

Ко мне из Кривого Рога, навещать меня, поддержать внука, вскоре, по просьбе моей мамы, Марии Михайловны Железновой, преподавателя русского языка и литературы, педагога от Бога, приехала бабушка, горячо любимая мною с детских лет, Пелагея Васильевна Железнова, редкой души и великих свойств, и способностей, и достоинств, святая женщина.

Потом, в начале июня, она, повидавшись со мною и убедившись в том, что, несмотря на всякие невесёлые изменения в жизни, я и жив и здоров, уехала, светлая, мудрая, обратно на Украину, увозя с собою письмо моё к родителям и заверения, что я, несмотря ни на что, непременно восстану из бед.

А рано утром, четвёртого июня, мы с другом, по СМОГу, по судьбе, допускаю вполне и гадаю, так ли, сейчас, Михаликом Соколовым уехали, на машине грузовой, через всю Россию, всё южнее, к теплу и свету, в археологическую, дабы там на совесть трудиться, во славу науки отечественной, экспедицию, на Тамань.

И началось моё лето незабвенное шестьдесят пятого – ну а с ним и одна из важнейших моих, так я считаю, книг.

Потом в моей жизни событий было хоть отбавляй, год проходил за годом, превращаясь в десятилетия, но я, почему – сам не знаю, и не знает никто, если этого сам не знаю доселе я, выживший, уцелевший в невзгодах, так и не приехал к Фонвизину за своим превосходным портретом.

И однажды, зимой, как-то днём, поглядев на снег за окошком в серебристо-сиреневой дымке то ли хмари приморской, то ли затянувшегося тумана, вроде смога, ни больше ни меньше, и припомнив былые года, позвонил я всё-таки, так, наобум, наугад, будь что будет, его сыну, Сергею Артуровичу, которого смутно помнил, со времён визитов к Фонвизину и бесед с ним, тоже художнику.

Он как раз в это время, так вышло, так совпало всё, разобрал отцовские, многочисленные, самых разных лет написания, сохранившиеся работы.

Он порадовался тому, что у меня в девяностых вышли большие книги.

Вспомнил, как видел меня, совсем ещё молодого, в гостях у отца, в середине крылатых шестидесятых.

Обещал непременно, а как же иначе, только ведь так, ему самому интересно, среди других акварелей отыскать тот давний портрет.

Просил меня обязательно позвонить ему, да поскорее.

Хотел получить в подарок мои, наконец-то вышедшие, после четверти века замалчивания, на родине, книги стихов.

Но я, пообщавшись с ним только по телефону, так и не позвонил ему.

Почему – я и сам не знаю.

А портрет свой, Фонвизиним созданный столь давно, – как сейчас вижу. Дивный.

Ничего. Он ещё отыщется. И, скорее всего, сам придёт ко мне.

Как говаривал Ворошилов – прорастёт. Я уверен в этом.

Время – в том, что мы создали сами.

Назовут это впредь – чудесами.

Имя времени – слово наше.

Речь, с её животворным светом.



ПОЭЗИЯ

Инна Петровна Варварица – родилась в Свердловске. В 1948 г. семья переехала в Москву. Окончила фармацевтический факультет 1-го Московского Медицинского института им. Сеченова. Более 40 лет работала химиком-аналитиком. Много путешествовала по Европе от Скандинавии до Кипра, побывала в США, Египте, Японии. Автор восьми поэтических сборников, книги стихов и прозы, двух детских книг. Член МГО СПР.

Живёт в Москве.

Инна ВАРВАРИЦА



Тропинки памяти

Вновь осень заметью
Подхватит год.
По тропкам памяти
Судьба идёт.
Следы оставит там,
И с ней сплелись
Тропинки памяти
Длиною в жизнь.

В метельной замети
Ушедших лет
Событий памятных
Хранится след.
Что канет в прошлое,
А что останется
Незапорошенным
На тропках памяти?

С листвою палою
Уносит вдаль
С тропинок памяти
Всю грусть-печаль.
Но всё оставите,
Что было светлого,
Тропинки памяти
Моей, заветные!



Что след оставит там,
Тому кружить
По тропкам памяти
Длиною в жизнь!

Первые воспоминания

Первое, что в памяти запало,
Как двухлетней мне в военный год
Мама взрослые стихи читала¹.
Кажется, ребёнок не поймёт
О любви, печали и разлуке.
Но я слушала, разинув рот, –
Видно, завораживали звуки!
Да и смысл их в памяти живёт!

Шёл сорок пятый год...

Я так мала ещё была тогда,
Едва ли что понять могла, и всё же
Событий этих грозных череда
След в памяти оставила мне тоже.
Я помню день, когда с войны вернулся брат –
Сын маминой сестры, закончив школу,
Ушёл на фронт всего лишь год назад –
Гнать в шею до Берлина вражью свору!
С лихвой хватило мальчику войны!
Но вот победой завершился путь,
И он опять среди своих родных!
Меня пустили на него взглянуть:
На стуле китель форменный висел,
Он крепко спал – кудрявый, безмятежный.
Луч солнца, между штор пробившись в щель,
Подушки и щеки касался нежно...

И столько радости и счастья в доме
Для тётки, бабушки и мамы было,
Что день тот, словно карточку в альбоме,
Двухлетней крошке память сохранила!

¹ Бальмонт «Лебедь», Надсон «У кровати», Полонский «Орёл и змея» и др.

Две детских фотографии в альбоме:
 Всё та же клумба, сквер напротив дома.
 Мне года три. И я, смеясь счастливо,
 Бегу навстречу фотообъективу.
 Бегу туда, где с фотоаппаратом –
 Вернувшийся недавно с фронта папа.
 Я с ним была с рождения в разлуке.
 И вот бегу к нему, раскинув руки.

Две карточки: одна – погожим летом.
 Цветы. Я в платье лёгкое одета.
 Другая – осень. Я в пальто и шапке
 Опять бегу от той же клумбы к папке.
 Там – смеха звонкого, восторженного, звуки
 И крыльями раскинутые руки!
 Там было детства светлого начало...
 Всю жизнь сквозь годы так и пробежала!

Под горку, под горку, под горку
 Стремительно годы летят.
 На мир уже менее зорко
 Глядит притупившийся взгляд.
 Становятся песни грустнее,
 И голос звучит с хрипотой.
 А дни всё быстрее, быстрее
 Мелькают пустой суетой,
 И здравому смыслу не внемля,
 Проходят в рутинных делах.
 Течёт драгоценное время,
 Как струйка в песочных часах!

Но жизнь – не часы, и мгновенно
 Обрато не перевернёшь!
 Ни сил, ни минут бесценных,
 Растроченных зря, не вернёшь!
 Успеешь ли всё – неизвестно,
 Пусть цели довольно просты!
 А жить до того интересно!
 И столько вокруг красоты!



Золотоканительный фабрикант поклонялся таланту балерины и врача

(Константин Сергеевич Станиславский)



Василий Евгеньевич Поляков – коренной москвич, родился 4 июля 1938 г., окончил 330-ю среднюю мужскую школу, затем 2-й Московский медицинский институт, клиническую ординатуру и клиническую аспирантуру в НИИ педиатрии АМН СССР. Врач-педиатр, гематолог, лимфолог, онколог и детский онколог, организатор здравоохранения. Защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Профессор, академик Международной Академии Информатизации ООН и Международной Славянской Академии наук, образования, искусств и культуры. Член Союза писателей России. Живёт в Москве.



Купцы, фабриканты и промышленники Алексеевы были известны в Москве, да и в России не менее чем Беляевы, Мамонтовы, Морозовы, Третьяковы. В районе Таганки, на Малой Алексеевской улице, в товариществе с П. Вишняковым и А. Шамшиным они владели золотоканительной фабрикой. Эта фабрика была основана ещё в 1785 году купцом 2-й гильдии Семёном Алексеевым. Продукция фабрики отличалась высоким качеством и пользовалась устойчивым спросом не только в России, но и за её пределами.

За участие в международных ярмарках и выставках владельцы фабрики имели почётные дипломы, свидетельства и даже государственные награды. Свой первый орден фабрикант Сергей Владимирович Алексеев получил за участие в Варшавской выставке 1857 года. Он был награждён орденом святого Станислава второй степени. Награждение российского промышленника этим польским орденом было весьма высокой наградой, если учесть, что с 1831 года польские ордена Белого Орла и Святого Станислава были приравнены к Российским орденам, впервые учреждённым ещё Петром I (орден святого апостола Андрея Первозванного, орден святой великомученицы Екатерины, орден святого Александра Невского и др.)

Рядом с фабрикой, на Большой Алексеевской улице, располагался собственный дом Алексеевых. 5 (17) января 1863 года в этом доме в семье Сергея Владимировича и Елизаветы Васильевны Алексеевых родился второй сын, наречённый именем Константин. Отец Константина был коренным москвичом и чистокровным русским, а мать родилась в Петербурге и была русской по отцу и французской по матери.

Дед Константина по линии матери, Василий Абрамович Яковлев, был богатым владельцем каменоломен в Финляндии. Именно ему в своё время было дано государственное поручение изыскать в своих владениях подходящий материал и доставить его в Петербург для обработки каменного монолита и установки его на Дворцовой площади в виде триумфальной Александровской колонны в честь победы русского оружия над французами в Отечественной войне 1812 года. С точки зрения организации дела и инженерного расчёта поручение было исполнено блестяще, и с тех пор стоящая без фундамента и какого-либо укрепления колонна является общенациональной гордостью. Недаром Александр Сергеевич Пушкин, подчёркивая значимость воздвигнутого им самим себе нерукотворного памятника, сравнивал его именно с Александрийским столпом. *Егегі monument...*



К.С. Станиславский

Бабка Константина по линии матери носила фамилию Варлей и была известной в своё время парижской артисткой, приехавшей в Петербург на гастроли. Богатый владелец каменоломен Яковлев не устоял перед её чарами, просил руки и сердца актрисы и сочетался с ней законным браком. У них родились две дочери. Однако счастливая семья просуществовала недолго. Бурлящая кровь артистки Варлей не находила покоя в величавой гавани Петербурга. Артистка разошлась с мужем, предусмотрительно оставив дочерей на его попечение. Впоследствии будущие мать и тётка Константина перебрались в Москву. Елизавета вышла замуж за Владимира Алексеева, о чём, вероятно, не пожалела никогда.

В своей дружной и преданной семейной жизни супруги нажили в общей сложности девятерых детей (пятерых мальчиков и четырёх девочек): Владимира (1861–1939), Константина (1863–1938), Зинаиду (1865–1950), Анну (1866–1936), Георгия (1869–1920), Бориса (1871–1906), Любовь (1871–1941), Павла (1875–1888) и Марию (1878–1942).

Летом семья жила на даче в имении Любимовка, в тридцати верстах от Москвы, около полустанка Тарасовка Ярославской железной дороги. В те годы москвичи очень любили театр, представления, причём в большой моде были домашние спектакли, в которых зачастую участвовали все члены семьи, поэтому всегда удовлетворялось острое желание всех молодых быть артистами, но не всегда находились зрители, что, впрочем, никого не смущало. Возможность поучаствовать в подготовке спектакля и в самом представлении доставляла куда большую усладу, чем аплодисменты благодарных зрителей.

Во дворе усадьбы Алексеевых стоял небольшой полуразвалившийся флигель. В арке этого домика была устроена маленькая сцена с занавесью из пледов. Первое сценическое выступление Кости состоялось именно в этом театре в живых картинах «Четыре времени года». И было ему тогда всего три или четыре года.

Как и многие промышленники его круга, Сергей Владимирович Алексеев был известным благотворителем. В Любимовке он учредил лечебницу для крестьян, получившую наименование Елизаветинской (в честь жены). В одного из докторов этой лечебницы влюбилась потом Зинаида – старшая из четырёх сестёр Алексеевых. В семье настолько деликатно относились друг к другу, что постепенно весь дом стал усиленно интересоваться медициной. Со всех сторон съезжались доктора и студенты – товарищи избранника сердца Зинаиды. Одним из друзей семьи Алексеевых стал студент университета Алексей Фёдорович Марков – живой, талантливый человек, избравший своим будущим поприщем медицину. Среди навещавших Любимовку друзей были любители драматического искусства, что позволило затеять домашний спектакль.

А инициатором создания домашнего театра в семье Алексеевых стал любимый репетитор гимназиста Константина – Иван Николаевич Львов. Заметим, что он был первым, кто разглядел такое яркое и очень знаменитое потом сценическое дарование своего воспитанника...

Восторженное восприятие духа кулис в семье Алексеевых передавалось их друзьям и знакомым. Кроме того, в эти годы Москва была просто переполнена любительскими кружками. Они создавались в каждой гимназии, чуть ли не в каждой интеллигентной семье. Если семья располагала средствами, сценические подмостки сооружали в собственном доме. Если нет, вскладчину снимали для своих спектаклей очень маленькие помещения, приспособленные под театр. Известностью среди широкой публики пользовались театры «Немчиновка» на Поварской улице и «Секретарёвка» на Нижней Кисловке.

28 декабря 1876 года 13-летний гимназист IV московской мужской гимназии Константин Алексеев присутствовал на любительском спектакле в «Секретарёвке». Актёры-любители в тот вечер играли три водевиля, два из которых поставил И.Н. Львов. В двух водевилях две разные роли играл актёр-любитель А.Ф. Станиславский.

Впоследствии удалось установить, что этот псевдоним принадлежал как раз студенту-медику Алексею Фёдоровичу Маркову, игрой которого Константин Алексеев просто «упивался», так как «нашёл в нём свой идеал».

Так и хочется предположить, что, взяв псевдоним Станиславский, будущий врач хотел подчеркнуть своё уважение к семье Кости Алексеева, отец которого, как мы помним, 19 лет тому назад был удостоен за участие его фабрики в Варшавской выставке ордена Святого Станислава.

Увы, нет... Как говорят достаточно много знающие французы, «шерше ля фам!» («ищите женщину!»).

В те годы восхищение студента Алексея Маркова и гимназиста Константина Алексеева, да и более старшего поколения, вызывала одна из самых талантливых балерин Большого театра Мария Петровна Станиславская. В 1871 году она окончила балетную школу в Петербурге и через год была переведена в Большой театр в Москву. Природная грациозность балерины,

выразительная пластичность и исключительно сильная техническая подготовленность, благодаря самодисциплине и выносливости, вскоре выдвинули её в число прима-балерин. Она танцевала центральные партии всего балетного репертуара Большого. Ею восторгались в «Лебедином озере», «Фаусте», «Коньке-горбунке», «Эсмеральде». Через 16 лет Мария Петровна покинула сцену и с 1888 года переключилась на педагогическую деятельность. Умерла М.П. Станиславская уже после революции, в 1921 году.

Итак, первой из Станиславских фамилию прославил балерина.

А чего достиг второй воспреемник этой фамилии, студент Марков?

Алексей Фёдорович окончил Московский университет, стал прекрасным хирургом. Основным местом его работы оказалась Яузская больница для чернорабочих. Умный, весёлый, доступный и доброжелательный к своим пациентам, он быстро завоевал уважение, популярность и любовь в среде рабочих и бедняков. Врачу представителей бедных слоёв населения, более всего страдавших от болезней и эпидемий, Алексей Фёдорович нередко сам заражался и тяжело болел. Известно, что он несколько раз перенёс гриппозную пневмонию, а также сыпной и возвратный тифы. Избранная им профессия не оставляла досуга для участия в спектаклях, и он оставил любительскую сцену.

В эти же годы его большой почитатель и друг Константин Алексеев уже осознанно мечтает о театральной карьере. В своей замечательной книге «Моя жизнь в искусстве» он потом напишет: «Мой первый дебютный спектакль состоялся в день именин матери, 5 сентября 1877 г.». Было ему в ту пору 14 лет.

Алексеев продолжает играть в любительских спектаклях, постоянно анализируя секреты профессии и своё мироощущение на сцене.

При изучении фондов Художественного театра, почти через сто лет после случившегося события, Н.А. Шестакова наткнулась на программку спектакля «Алексеевского драматического кружка». Рукописная программка, выполненная чётким почерком переписчика, извещала о спектакле 25 ноября 1881 года – трёхактной комедии В. Крылова «Лакомый кусочек». В перечне действующих лиц и исполнителей значилось, что помещика Сергея Семёновича Бардина играл «г. Станиславский». Рядом рукой Константина Сергеевича написана его настоящая фамилия – Алексеев. Таким образом, Алексеев впервые в жизни «примерил» театральный псевдоним «Станиславский» в 18-летнем возрасте, за 17 лет до первого спектакля в Московском художественном



К.С. Станиславский

общедоступном театре.

Что же побудило 18-летнего актёра-любителя избрать вместо звучной и широко известной в России фамилии «Алексеев» псевдоним?

В «Моей жизни в искусстве» находим ответ и на этот вопрос. В любительских спектаклях ему «приходилось участвовать нередко в компании каких-то подозрительных лиц. Что делать? Играть было негде, а играть до смерти хотелось. Тут бывали и шулера и коготки. И мне, человеку “с положением”... выступать в такой обстановке было далеко не безопасно с точки зрения моей “репутации”. Приходилось скрываться за какой-нибудь выдуманной фамилией. И я искал её в надежде, что она действительно меня скроет. В то время я увлекался одним любителем, доктором М., игравшим под фамилией Станиславского. Он сошёл со сцены, перестал играть, и я решил стать его преемником, тем более что польская фамилия, как мне тогда казалось, лучше укрывала меня».

В 1881 году, в 18-летнем возрасте Константин Сергеевич Алексеев окончил 6-й класс классической гимназии. Учиться дальше он не захотел и в начале 1882 года поступил в контору золотоканительной фабрики «Владимир Алексеев».

Забегая вперёд, отметим, что талант всегда многогранен. Константин не только успешно и быстро освоил свои прямые конторские обязанности, но и заинтересовался самим процессом производства, его технологией. Он с удовольствием вникал во все новшества золотоканительного дела и довольно скоро стал заметным и признанным специалистом и руководителем.

Через 12 лет, в 1894 году, на 32 году жизни Константину Сергеевичу доверяют пост председателя правления товарищества и директора фабрики. Понимая, как важно отвлечь рабочих от пьянства, оказать им своевременную медицинскую помощь, повысить уровень их образования и культуры, увлечь на досуге делом, достойным человека, К.С. Алексеев сразу выделяет помещение и организует на своей фабрике читальню для рабочих, где для неграмотных применяется и такая форма просвещения и вовлечения в культуру, как публичные чтения. В России умеют петь и любят свои песни, которые чаще всего исполняют хором. И К.С. Алексеев организует хор из рабочих. А для рабочих и технических служащих со смекалкой и образованием он устраивает вечерние научные курсы. Через год, в 1895 году, золотоканительная фабрика по инициативе К.С. Алексеева выступает инициатором создания общества трезвости, которое затем становится ядром при создании аналогичного общества всего Рогожского района Москвы. Наконец, на территории фабрики создаётся амбулатория для рабочих и ей отводится светлое и просторное помещение. Константин Сергеевич приглашает на заведывание приёмным помещением амбулатории своей фабрики Алексея Фёдоровича Маркова – да, да, того первого по псевдониму «госпоина Станиславского», а в помощь ему приглашает фельдшера Николая Ивановича Борисова, уже прослужившего 16 лет под Москвой в Елизаветинской лечебнице, основанной в Любимовке ещё его отцом, С.В. Алексеевым. Марков совмещал работу в Яузской больнице и в амбулатории фабрики Алексеева в течение 18 лет, с 1895 года по 1913-й. К Маркову обращались в любое время дня и ночи. Его знали как врача с универсальными знаниями и ценили в нём простое обращение и внимательность к нуждам людей.

Уже будучи тяжело больным, А.Ф. Марков не мог отказать людям и продолжал ездить по вызову. Доктор умер 19 января 1913 года. Похоронили его

на Ваганьковском кладбище в Москве. В последний путь врача провожала многочисленная длинная процессия. В скорбном молчании шли за гробом рабочие и служащие фабрики, простой люд рабочей Рогожки.

А Константину Сергеевичу Алексееву (господину Станиславскому, второму и третьему носителю этой фамилии) было суждено участвовать в создании Московского художественного общедоступного театра, который 124 года тому назад, 14 (26) октября 1898 года, открыл свои двери для зрителей спектаклем по драме Алексея Константиновича Толстого «Царь Фёдор Иоаннович».

В подтверждение врождённой человеческой доброты и блистательного актёрского таланта Константина Сергеевича Станиславского приведём исторический факт, что в 1898 году на один из спектаклей, где директор фабрики играл царя Иоанна Грозного, рабочим были даны 10 контрамарок. На следующий день рабочие расспрашивали директора, по какой причине он не участвовал в спектакле (заболел? неотложные дела?). Перевоплощение директора в царя было столь убедительным, что ни один из подчинённых, видевших его на фабрике каждый день, не узнал его на сцене.

Думаю, что приведённый факт – самый убедительный аргумент торжества системы Станиславского.

А что же директор Константин Сергеевич Алексеев?

Он на собственные деньги построил на фабрике театр для рабочих. Его открытие состоялось 118 лет тому назад, 24 апреля 1904 года. На следующий день, 25 апреля, газета «Русские ведомости» сообщила: «На золотоканительной фабрике товариществ В. Алексеев, П. Вишняков и А. Шамшин (по Алексеевской улице, близ Таганки) по инициативе правления выстроено здание с постоянной сценой, где предполагается устраивать чтения, концерты и спектакли для рабочих фабрики. В этом же здании имеется в виду открыть библиотеку и читальню, а в свободные от спектаклей и чтений дни все помещения будут представляться в пользование рабочих как рекреационная зала. Число мест в зрительном зале рассчитано на 250 человек. Сцена устроена со всеми новейшими усовершенствованиями и имеет ширину 14, а глубину 21 аршин. Всё здание освещается электричеством, прекрасно вентилируется и имеет пожарный водопровод. Стоимость постройки обошлась с лишком 50000 р. Для открытия спектаклей вчера, 24 апреля, поставлена была комедия «Лес» Островского. Спектакли ставятся под режиссёрством г. Станиславского. Сегодня повторяют комедию Островского».

Вот так влюблённый в театральное искусство с детских лет будущий фабрикант Константин Сергеевич Алексеев, выбрав в 18 лет псевдоним Станиславский, выразил своё поклонение таланту балерины и врача. Мог ли мечтать в ту пору 18-летний юноша, что он станет великим актёром и режиссёром и создаст «систему Станиславского», по которой будут учиться самые яркие, самые талантливые актёры всего мира?



ПОЭЗИЯ

Пётр ГУЛДЕДАВА

Пётр Георгиевич Гулдедава – член МГО СП России и Академии российской литературы. Автор четырнадцати книг поэзии и прозы. Дипломант и лауреат московских и всероссийских конкурсов. Живёт в Москве.



Нам дано совершенствовать мир!

Все люди ей обложены, как данью,
И жертвуют собою вновь и вновь,
Покуда существует в мироздании
Всесильно-своенравная любовь.

И страсти тела можно укротить,
И чей-то дух на цыпочки поставить,
В зависимость, как в рабство, обратить...
Но полюбить – никак нельзя заставить!

Пускай по крови вовсе не родные,
Хоть я и недостойн, может быть,
Меня любили ангелы земные
И продолжают до сих пор любить.

Пока Надежда есть на белом свете,
Пока Любовь сильнее любых идей,
Не гаснет светоч Веры на планете,
Где ангелы живут среди людей.

Миссия...

При лампадном сиянии строгом
Приходя к Небесам на поклон,
Мы общаемся с Господом Богом
Сквозь открытые окна икон.

И общению этому рады,
Придающему силы для битв,
Так как можем к Источнику Правды
Приобщиться слезами молитв...

Сохраняющим память бывшего
В тишине опустелых квартир,
Силой действия Мысли и Слова
Нам дано совершенствовать мир!

Офицеры

Я, в общем, никогда не рвался в драку,
Но сохранилось в памяти моей,
Как русский полководец шёл в атаку
С «эскортом» малолетних сыновей.

Как предложенье об обмене сына
Главком отверг решеньем роковым,
По той причине, что размером чина
Фельдмаршалы не равня рядовым.

«Осанна» им возносится на тебе,
Безвестным и прославленно-крутым.
И звёздочки с погон на синем небе
Остались вечным памятником им...

Возможно, не во всём я был примером,
В особенности в юные года,
Но верным долгу русским офицерам
Старался соответствовать всегда.

История

Она творится нашими руками.
Ей и триумфы свойственны, и срам.
Она идёт секундными шажками
И расставляет факты по местам.

Ушёл даритель полуостровов,
Новаторами стали ретрограды.
На Волге есть десятки городов
И все они, конечно, волгограды.

Но совершать, чему я был бы рад,
Храня свою уверенность в престиже,
Прогулки по бульвару «Сталинград»,
Могу я почему-то лишь в Париже.

В той войне не щадили себя мужики,
Как защитники волжской столицы,
Но не города имени Волги-реки,
И не имени бывшей царицы.

А за имя вождя, против общей беды,
Шли на гибель и полк, и бригада, –
Как за символа волжской священной воды
И родимой земли Сталинграда.

Могу сравнить...

Смотря на нынешних парней,
Тону в волнах печали
О злой судьбе грядущих дней,
Поскольку ныне стали,
С позиций нынешних вершин
Практичных «заморочек» –
Небескорыстным стиль мужчин
И малодушным почерк.
Их новый век успел взрастить
Мохнатым цветом пошлым,
И как же тут не загрустить
О вдохновенном прошлом?..

Нам посчастливилось расти
В благословенном месте,
Где было больше – совести,
Тепла, добра и чести.

В привычно мирной суете мирской
С минутами любви и вдохновенья,
В быту неоднозначности людской
Бывают и печальные мгновенья,

Когда весна нам кажется зимой
И рушится гармония сознания,
И мы в сердцах взыскуем: «Боже мой!
За что же мне такое наказание?!»

За всё, что раздарил ты или спрятал,
За камни, что когда-то разбросал,
Стократными дарами и расплатой
Нам воздают Земля и Небеса.

Феникс...

Когда тоску-печаль лечу,
А ум признаниям не верит,
Я ветром памяти лечу
На лучезарный южный берег.

И там, где как усталый зверь
Ночную влагой дышит море,
Когда уймётся боль потерь
И схлынет жар бывшего горя,

Где волны плещут не спеша,
Успокоительно для слуха, –
Испепелённая душа
Воспрянет к небу птицей Духа.



Галина Александровна Романова – поэт, прозаик, публицист. Член Союза писателей России, член Союза журналистов России. Член правления ЛИТО «Метафора» Городского округа Балашиха Московской области. Член ЛИТО имени Героя Советского Союза писателя В.В. Карпова при Военно-художественной студии писателей Центрального Дома Российской Армии им. М.В. Фрунзе. Работает в авиационной отрасли. Лауреат и дипломант литературных конкурсов. Имеет многочисленные награды.

Живёт в Балашихе.



Летят до земли снегопады...

Радуюсь зиме

Не на всё хватило снега
У примчавшейся зимы.
Серебрит она с разбега
Лишь клочки подмёрзшей тьмы.

Правда, льдом укрылась речка,
Стало в рожице светло.
Отдаёт земля, как печка,
Нам последнее тепло.

Из ажурных веток иней
Над тропинкой сплёл тоннель:
Не заметишь – ночью синей
Приведёт тебя в купель.

Все грехи оставишь в водах,
Их куда-то унесёт,
И в морозную погоду
Польнью затянет лёд.

До Крещения осталось
Пятьдесят счастливых дней.
Кто-то скажет: «Это малость!».
Я отвечу: «Мне видней».

Зимним городом белёсым,
Засмеявшись, побегу
И под кружевом берёзы
Изваляюсь вся в снегу.

Мне совсем богатств не надо,
И грешить – прошла пора,
Каждый день теперь – отрада.
Здравствуй, зимушка! Ура!

Глядя на ель

Притулилась под откосом,
Ловит в лапы первый снег,
А макушкой, словно носом,
Так и рвётся к звёздам вверх.

Привередливый лесничий,
Может быть, на этот раз
Вдруг оценит стан девичий
И на ель «положит глаз».

В Новый год не на опушке
Спать под скучную метель,
А в серебряных игрушках
Веселиться будет ель.

Станет центром хоровода,
Лес покинув наконец,
А над ней раскинет своды
Белокаменный дворец.

Дед Мороз зажжёт на ветках
Разноцветные огни,
В пируэтах на балетках
К Рождеству помчатся дни...

...Осыпаются иголки
На узорчатый паркет,
Смех и музыка умолкли,
И каникул больше нет.

Не вернуться на опушку
В тот счастливый зимний день,
Не тянуть к звезде макушку.
Ждёт весны под снегом пень.

Так и мы мечтаем часто
Жизнь на праздник поменять,
А потом хотим – напрасно! –
Повернуть ход жизни вспять.

Снег надежд

Укроет снегами печали,
Попыток, ошибок следы,
Тот день, когда мы промолчали,
Когда не подали воды.

Укроет неброшенный камень,
Ненайденный жизненный путь,
Ту тень, что скользнула меж нами,
Ненужную горькую суть.

Нам станет светлей и беспечней,
Простится, забудется грех,
Покажется вновь бесконечным
Надежд наших выпавший снег.

И вновь забелеет равнина,
И белый на стол ляжет лист,
Неясно поманит картина,
И замысел вновь будет чист.

Вспомнилось

Я помню, на яблоньку эту
Ложился по осени снег.
Шептал он в окошко поэту:
«Нашёл я уютный ночлег».

Укутывал яблоньку нежно
И гладил её по ветвям,
И млела она безмятежно,
И радовалась снегирям.

Мне в памяти видится это,
А яблоньки нет уже год.
Пусть больше в окне моём света,
Но яблонька в нём не цветёт.

Спилили безжалостно люди,
Оставив никчёмный пенёк,
И яблоньки больше не будет –
Заснеженный тает упрёк.

Снежинки спускаются ниже,
Бело и светло за окном.
И небо мне будто бы ближе,
А я всё грущу об одном:

Не будет мне больше отрады –
Весеннего цвета в окне.
Летят до земли снегопады.
О яблоньке плачу во сне.



Россия – страна героев

В моём семейном архиве есть фотография: двое мужчин крепко пожимают друг другу руки. Того, кто справа, знает весь мир: это Ю.А. Гагарин, первый космонавт. А тот, кто слева, известен гораздо меньше, хотя личность не менее замечательная. Это Юрий Сергеевич Кучиев, капитан атомохода «Ленин», первый капитан атомного ледокола «Арктика».

Ю.С. Кучиев подарил эту фотографию моему деду, Евгению Петровичу Желтовскому, своему старшему товарищу и коллеге, «на добрую



Евгения Васильевна Полякова – родилась в Москве. В 1982 г. окончила МГПИИЯ им. М. Горького. Работала переводчиком, преподавателем. Замужем, имеет двух дочерей. Живёт в Москве.



*Евгению Петровичу на добрую
нашай. Ю. Кучиев.*

память». Оба они за годы работы в северных морях прошли огонь, воду и медные трубы. Оба достигли таких высот духа, что понимали истинную ценность этого подарка. О жизни этих героев-полярников, об их вкладе в освоение Арктики – мой рассказ.

С. П. Желтовский – почётный полярник, инженер-механик, судостроитель, стоял у истоков Главного управления Северного морского пути (Главсевморпуть, ГУСМП), созданного в 1932 году. В свою первую «полярку» он отправился ещё в 1924 году, 17 лет от роду. Сохранились его воспоминания о первых годах в Арктике.

«Август 1924 года. Мы в Карском море. Я – кочегар гидрографического судна “Шуя” Енисейской Лоцдистанции Управления безопасности кораблевождений у берегов Сибири. Сокращённо “Убеко – Сибирь”. Нелегко давалось освоение тяжёлой специальности кочегара. Пришлось здорово помучиться, пока не научился хорошо чистить топку и держать “пар на марке”.

Кидается наша “Шуя” на лёд. Вот, кажется, и разбила перемышку. Ан нет, не легко поддаётся лёд, да и машина у нас слабая – 350-400 сил (лошадиных – Е.П.) всего. Не во льдах ей работать, а портовым буксиром. Но надо ведь. Никуда не денешься. И, оставляя за собой длинный хвост чёрного дыма, «Шуя» остервенело рвётся вперёд.

Не нравится такая работа старшему механику.

– Задёргают машину... Тут “Малыгина” надо, а не “Шую”...

Из рассказов и разговоров в кубрике я уже знал, что “Малыгин” – ледокол, работающий в Карском море в ледовитые годы.

Вот это сила! Пять тысяч машина, четыре котла, одних кочегаров со старшинами больше двадцати человек; кто в топках работает – за углём в угольные ямы не лазят, специально по два штивальщика на каждую вахту выходят, – рассказывали мои напарники-кочегары. – Две кочегарки, а мусор на палубу поднимать не надо. Мусорный элеватор имеется, раз-два – и готово. А у нас?

Да, у нас дело с удалением из кочегарки шлака после чистки топок поставлено было примитивно. Наверное, так было ещё на Ноевом ковчеге. Мусор насыпался в кадки, которые потом через блок пеньковым концом подымались вручную на палубу и опоражнивались за борт. Делали это мы же сами, кочегары, для чего приходилось на подвахту выходить, и записывали нам за это полчаса как сверхурочные.

Неприятная это была работа. Особенно в штормовую погоду, когда вода по палубе гуляет. А когда кадку в кочегарке насыпаешь, гляди, как бы она тебе на голову не высыпалась. При бортовой качке рискуешь вместе с кадкой за борт вылететь. Мусора набиралось каждую вахту 25-30 кадок.

И так мне захотелось “Малыгина” посмотреть, ведь я ещё живого ледокола не видел».

В 1927 году Е.П. Желтовский плывал кочегаром на пароходе «Колыма» во время первого экспедиционного рейса к устью реки Лена. В 1928-1929 гг. на том же теплоходе пришлось зимовать в Северном Ледовитом океане. В 1932 году уже в качестве второго механика парохода «Колыма» дед пережил ещё одну зимовку в Арктике. А в 1934 году пошёл третьим механиком на ледорезе «Ф. Литке» в первый в истории сквозной проход по Северному морскому пути из Владивостока в Мурманск за одну навигацию.

Побывал дед и в Антарктиде в навигацию 1956-57 гг. А в 1959 году был направлен в Финляндию, где Советский Союз разместил заказ на строительство

новой серии ледоколов: «Москва», «Ленинград», «Киев», «Мурманск» и «Владивосток». Евгений Петрович был Главным наблюдающим со стороны Заказчика в процессе строительства этих ледоколов. Изначально финские кораблестроители предлагали сделать всё так же, как на ранее построенных ледоколах типа «Капитан Белоусов», только в больших размерах. Но дед настаивал на изменении многих конструктивных решений. В результате «Москва» стала весьма маневренной. Например, винты переходили из режима «полный вперёд» в «полный назад» всего за 8-9 секунд. Это очень важно при плавании во льдах, когда счёт нередко идёт на секунды. Мощность дизель-электрической установки составляла 22 000 л.с. При строительстве второго ледокола финны признавались, что с внедрением предложений Е.П. Желтовского стоимость работ существенно сократилась.

Впоследствии Евгений Петрович плывал старшим механиком на «Москве» и «Ленинграде» в Арктике. Там он и познакомился с Ю.С. Кучиевым. Дед был старше Кучиева на 13 лет, но в их судьбах и характерах было много общего.

Ю.С. Кучиев родился в 1919 году в ауле Тиб Северной Осетии. С детства мечтал стать лётчиком, как многие мальчишки того времени. Его отца, наркома земледелия Северной Осетии, арестовали по ложному обвинению. Путь в авиацию был закрыт. По совету Марка Ивановича Шевелева, начальника Управления полярной авиации, депутата Верховного Совета СССР, Юрий Кучиев отправился на о. Диксон матросом. Произошло это в июне 1941 года, прямо накануне войны, так что познавать морскую науку пришлось сразу в составе конвоев Северного флота. Затем последовали годы учёбы и профессионального роста на ледоколах «Ермак», «Сибиряков», «Илья Муромец», «Красин», «Малыгин». Тот самый



Е.П. Желтовский на ледоколе «Москва»

«Малыгин», о котором юноша Евгений Желтовский слышал как о техническом чуде.

В конце 1950-х годов в Советском Союзе был построен и прошёл ходовые испытания первый в мире атомоход «Ленин». Мощность его силовой установки составляла 32,4 мегаватта (44 000 л.с.). Два ядерных реактора обеспечивали автономность плавания в течение 12 месяцев. Первым капитаном «Ленина» до 1961 года был опытейший капитан-полярник Павел Акимович Пономарёв, затем его сменил Борис Макарович Соколов.

И вот в 1960 году встретились в море у кромки большой солидной льдины два ледокола, «Москва» и «Ленин». «Москвой» командовал Фёдор Иванович Федосеев, а главным механиком был мой дед, Е.П. Желтовский. Капитаны и главные механики обменялись визитами. Дед обошёл «Ленина» вокруг по льду, осмотрел корпус и сказал, что это не ледокол, а ледорез. Ф.И. Федосеев предложил померяться силами, показать работу ледоколов во льдах, благо льдина подходящая, крепкая, большая – есть где посоревноваться.

Желтовский и Федосеев пошли к себе на «Москву», а «Ленин», не дожидаясь общей команды, начал движение. С «Москвы» было видно, как «Ленин» трудно берет лёд. А «Москва» развернулась во льдах и пошла, и пошла... Когда «Москва» прошла всю льдину, «Ленин» был ещё на полпути до намеченной черты (и это при мощности двигателя вдвое больше!).

Евгений Петрович высказал предположение, что «Ленин» строили по схеме всех военных кораблей, с острым носом и соответствующими острыми обводами. А для ледокола нужен мощный нос, способный ломать лёд и давить его под себя и под лёд справа и слева, оставляя за кормой чистый канал для проводки судов. На всех последующих атомных ледоколах носовая часть была выполнена под «ледокольную».

В декабре 1965 года атомный ледокол «Ленин» посетил Ю.А. Гагарин, где они дружески общались с Ю.С. Кучиевым, капитаном-дублёром, в течение нескольких часов. Тогда и была сделана памятная фотография. Военская служба Гагарина после окончания авиационного училища проходила в Мурманской области в 122-й истребительной авиационной дивизии ВВС Северного флота, так что суровый характер Крайнего Севера был ему хорошо знаком. Юрий Сергеевич признался, что с детства мечтал стать лётчиком.

– Товарищ командир, – удивился Гагарин, – зачем вам лётчиком? Такой корабль! Да на нём же чудеса можно делать!

«Ленин» и делал чудеса. За тридцать лет службы он преодолел 536 600 миль в арктических льдах, в том числе и под командованием Ю.С. Кучиева. В 1971 году «Ленин» прошёл из Мурманска в Певек по маршруту, проложенному выше Северной Земли. Так далеко в Арктику не забиралось ещё ни одно надводное судно.

Если кто-то в вашем присутствии рискнёт говорить о слабости России, её технической отсталости, просто покажите ему фотографию «двух Юриев» и объясните, кто на ней изображён. Думаю, желание спорить отпадёт само собой. Россия – страна героев. Так было, есть и будет.

Но впереди оставалась ещё одна цель – достичь Северного полюса. Идея была не нова. В 1895 году Фритъоф Нансен вплотную подобрался к полюсу, не дойдя до него несколько сотен километров. Первым русским, организовавшим экспедицию к Северному полюсу в 1912-1914 годах, был Георгий Яковлевич Седов, но его попытка тоже закончилась неудачей. К середине XX века гонка

за первенство в этой сфере становилась всё более ожесточённой. В 1958 году полюса достигла американская подводная лодка «Наутилус», а в марте 1959 года – субмарина «Скейт». Однако дойти до полюса надводным судном считалось почти нереальным. Это было под силу только ледоколу нового поколения с ядерной силовой установкой.

И такое судно было построено в Советском Союзе! Атомный ледокол «Арктика» спустили на воду в конце 1972 года в Ленинграде. Его мощность составляла 75 000 л.с. Экипажу из 150 человек уже не надо было нести постоянную вахту возле энергетической установки на двух ядерных реакторах: контроль за ней вёлся автоматически из центрального пульта управления. На скорости полтора-два узла атомоход мог без остановок идти через ледяные поля толщиной до 2,8 м. А максимальный срок плавания ограничивался лишь запасами провизии. Капитаном «Арктики» был назначен Ю.С. Кучиев.

Подготовка к походу на Северный полюс была очень тщательной. С февраля по апрель 1977 года было проведено пять экспериментальных зимних рейсов на Ямал. Во главе каравана судов шла «Арктика», затем дизель-электрорход «Павел Пономарёв», ледокол «Мурманск» и два грузовых судна. Весь опыт полярных исследователей, и уже ушедших, и действующих, сфокусировался на главной задаче: доказать возможность высокоширотной ледовой проводки. Ведь прямой маршрут между Мурманском и Беринговым проливом примерно на одну треть короче трассы Севморпути. Круглогодичная навигация по кратчайшему маршруту имеет огромные экономические и политические преимущества.

Выйдя из Мурманского порта 9 августа 1977 года, «Арктика» двинулась самым простым маршрутом, где было меньше риска упереться в паковые льды; через Карское море и пролив Вилькицкого в море Лаптевых, а оттуда – прямо на север. Экспедиция достигла Северного полюса 17 августа в 4 часа утра по московскому времени. На полюсе был поднят флаг Советского Союза. Ю.С. Кучиев прикрепил к флагштоку древко от флага экспедиции Г. Седова. 23 августа «Арктика» благополучно вернулась в порт Мурманска.

В 2022 году отмечается 90 лет с даты создания Главсевморпути. В наши дни освоение Арктики и Северного морского пути – один из приоритетов развития России. Невиданные достижения и перспективы были бы невозможны без героических свершений сотен полярников, судостроителей, мореплавателей, авиаторов, инженеров, учёных. Когда люди объединены большим сложным делом, они особенно чувствуют связь не только с коллегами, современниками («по горизонтали»), но и с предшественниками и последователями («по вертикали»). Теория шести рукопожатий гласит, что каждый человек на Земле опосредованно знает любого другого жителя планеты через цепочку максимум пяти общих знакомых. В рамках одной профессии или сферы деятельности эта цепочка ещё короче. Как говорится, не мир тесен, а слой узок. Но этот принцип работает не только в пространстве, но и во времени! Любой наш поступок, любая мысль расходятся волнами и в прошлое, и в будущее. Поэтому, когда человек говорит: «От меня мало что зависит» – он лукавит. Всё человечество объединено в гигантскую общую сеть, для которой нет ни времени, ни пространства. Надеюсь, что пример двух поколений полярников вдохновит будущих исследователей Севера. А крепкое мужское рукопожатие Ю.А. Гагарина и Ю.С. Кучиева даст импульс для новых достижений российской науки и техники, да и всего человечества в целом.



ПОЭЗИЯ

Виктор Михайлович Кашкин – член МГО СП России. Известен по публикациям в газетах, журналах, коллективных сборниках. Автор поэтических книг «Россия дальше Енисея», «Я берега свои искал» и «Всего дороже».

Живёт в Москве.

Виктор КАШКИН



Я хочу, чтоб ты слушала ночь...

Уходят на юг поезда,
На север бегут, на восток.
Приснятся они в городах,
Не знавших железных дорог.

Заспорив, предложат колёса
Срифмованный ими маршрут,
Вагоны подхватят без спроса,
И лестницы шпал оживут.

Напомнит плацкартное место,
Как стлала матрасы пурга,
Как крошевом льда, словно тесто,
На борт налипала шуга.

Как в схватке с плацкартными снами
Следами солдатских сапог
Я снова пройду городами,
Что спят без железных дорог.

На перронах не гаснут огни.
Поспеши на вокзал от тревоги,
С ароматами странствий вдохни
Тёплый запах железной дороги.



Я хочу, чтоб ты слушала ночь,
На бегущие окна глядела.
И вагоны нам смогут помочь.
Ждать – ведь это нелёгкое дело.

Снегопадом исколота мгла
Далеко-далеко от столицы.
Я хочу, чтоб ты тоже могла
Поцелуем зимы насладиться.

И тогда ты услышишься мне
Под чечётку ночных электричек
В самой ранней из переключек,
В самой ласковой тишине.

Сном, на службу похожим
Пограничных застав,
Мы себя потревожим,
Дневники полистав,
Где мы, кажется, дружим,
Да вот ладим непросто.
Так давай обнаружим,
Что вины-то с напёрсток,
Если вспыхнув, досада
Жжётся, будто крапива
В чаще старого сада,
Где неплодлива слива,
Где, ступая, непрошен,
На хрустящие лужи,
Как и сад, что заброшен,
Натерплюсь твоей стужи
И пойду за ограду
Беспризорной усадьбы,
Взяв в подруги досаду,
Раз тебе не до свадьбы.
Как в походе солдаты,
Смолкну песней в тумане,
Обозначив лишь даты,
Их никто не обманет.

Там, где солнца луч не трогал
Островков льда на воде,
Коченела утка Огарь
В неоттаявшей среде.

На часах с ней возле птицу,
Ту, что ей была родня,
Я Страстную всю седмицу
Навещал день ото дня.

И казалось, что за дело
Мне до Огаревых драм,
Их любовь меня задела.
Дружбой, что не снилась нам.

Этой верности учиться
Не мешало бы и мне,
Может всякое случиться
В непогоду по весне.

Война не только за Донбасс,
Что сердцем был России,
Когда сто лет назад у нас
Будёновки носили.

Теперь за наши города,
Позиций не сдававших,
За веру русских, никогда
Своих не предававших,

За право отчий дом любить,
Где зорьку будит кочет,
За право быть и победить,
И знать, что Бог так хочет.



**«Не много было у нас таких
самоотверженных деятелей...»**

Штрихи к портрету Осипа Бодянского

В июне 1848 года в Московском университете разразился скандал. В центре его оказался журнал «Чтения в Обществе истории и древностей российских», на страницах которого были опубликованы воспоминания «О государстве Русском» английского путешественника XVI века Флетчера. В своих заметках он написал о тяжёлом положении крепостных крестьян России во времена Ивана Грозного.

Публикация вызвала недовольство царя Николая I. Издание журнала было приостановлено, а его редактора – экстраординарного профессора, секретаря Общества истории и древностей российских при Московском университете Осипа Максимовича Бодянского вынудили покинуть редакторский пост и отставили от профессорской кафедры.

В предыдущие годы в Московском университете тоже не обходилось без шумных историй. То агенты графа Бенкендорфа «тайный кружок» выявят, то студентов за распевание крамольных песен посадят на гауптвахту... Обо всех происшествиях тут же, без промедления, докладывалось Николаю I, который с декабристской поры не жаловал вольный университетский дух.

В середине 1831 года в университете полицией была раскрыта неугодная правительству деятельность «тайного общества» Н.П. Сунгурова. На следствии выяснилось, что члены этой организации, как и декабристы, мечтали о конституции для России, хотели организовать поход на Тулу с тем, чтобы захватить арсенал, раздать оружие народу и призвать его к восстанию.

В этом громком деле оказались замешаны будущий глава литературно-философского кружка Николай Станкевич и его некоторые друзья. Один из арестованных, член кружка Сунгурова Яков Костенецкий был хорошо знаком со Станкевичем,



Николай Александрович Карташов – родился в 1957 г. на Белгородчине. Окончил Воронежский государственный университет и Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище. Проходил службу в Вооружённых Силах и правоохранительных органах. Автор и составитель более 20 книг, среди которых «Мытари», «Верую в верность», «Солдаты казны», «Служивый народ», «Станкевич», «Жизнь Станкевича», «Крамской», «Ватутин» и других. Секретарь Союза писателей России. Член правления Московской городской организации Союза писателей России. Удостоен государственных, ведомственных и общественных наград. Заслуженный работник культуры РФ. Лауреат Государственной премии РФ им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Живёт в Москве.



неоднократно бывал у него на квартире у профессора М.Г. Павлова. После завершения судебного процесса сунгуровцев отправили в ссылку. Самого руководителя «тайного общества» Сунгурова, лишённого прав и состояния, пустили с партией арестантов пешим этапом в Сибирь – в Нерчинск, на рудники. Костенецкого с Платоном Антоновичем отправили в солдаты.

У ссыльных не было ни тёплой одежды, ни денег. Студенты, среди них был и Станкевич, собрали вещи, деньги и передали их по назначению. С дороги Костенецкий и Антонович направили письмо своим бывшим товарищам по университету, в котором упоминались фамилии Станкевича, Я. Почеки, И. Оболенского, Н. Сатина, Я. Неверова, Н. Кетчера, Н. Огарёва и других друзей.

Однако это письмо было перехвачено агентами III отделения. Начальник корпуса жандармов Московского округа генерал-лейтенант С.И. Лесовский докладывал начальнику тайной полиции графу А.Х. Бенкендорфу: «Означенные Почека, Станкевич, Сатин и Огарёв, хотя есть люди молодые, но... отлично образованны и хорошей нравственности, и они с прискорбием видят, что подверглись высочайшему замечанию чрез одно токмо письмо Костенецкого, с коим совершенно не участвовали во вредных его замыслах и даже не имели особенно коротких связей с ним, кроме того, что были товарищами ему по университету».

Бенкендорф, тем не менее, доложил о письме и о тех, кто в нём упоминался, непосредственно царю. Николай I приказал вызвать студентов, сделать им соответствующее внушение и учредить «строгий надзор».

Но вернёмся к началу нашего рассказа. Попавший в немилость царя экстраординарный профессор Бодянский был в своё время одним из близких друзей Станкевича, входил в его литературно-философский кружок. О нём и поведём речь.

Осип Максимович Бодянский родился 3 декабря 1808 года в местечке Варве Полтавской губернии (Украина) в семье священника. Среднее образование получил в духовной семинарии, в которой изучал старославянский и сербский языки. В 1831 году Бодянский, окончив семинарский курс, был уволен из духовного звания и, по свидетельству современника, «с медным грошем в кармане из далёкого Переяславля полтавского прибыл в Москву, чтобы усесться за словарные фолианты, с трудом добытые из лавки старого Феррапонтова на Никольской».

Осенью того же года Бодянский был принят в число студентов словесного отделения Московского университета. Правда, «в таком возрасте, когда – как написал впоследствии известный русский славист, академик И.И. Срезневский, – другие оканчивают или уже и окончили университетское образование, но зато с такими знаниями по философии и древним языкам, какие в то время получали немногие не только в светских учебных заведениях,



но и в большей части семинарий, стоявших тогда в этом отношении значительно выше светских, и с таким навыком к терпеливому и стойкому труду и с такой любознательностью, что университетские преподаватели не могли его не отметить как одного из наиболее достойных уважения слушателей».

На Моховой, в стенах Московского университета, и сошёлся он с Николаем Станкевичем и его кругом. И хотя Бодянский был старше Станкевича на пять лет, это не помешало им завязать искренние дружеские отношения.

Бодянский, как и Станкевич, принадлежал к числу наиболее одарённых и способных студентов. Подтверждение этому находим в воспоминаниях Константина Аксакова:

«Не могу не рассказать про один смешной случай, бывший на лекции у Надеждина¹. Он как-то вздумал сделать репетицию и стал нас спрашивать, спросил и Бодянского, сидевшего на задней лавке. Бодянский поднялся и стал отвечать, как по книге, и при этом беспрестанно опускал глаза на стол. Студенты засмеялись. «Он по книге читает», – заметили они друг другу. Надеждин, вероятно, услышал это и, сам заметя книжный слог ответа, сказал, несмотря на свою деликатность: «Извините, г. Бодянский, мне кажется, вы по книге читаете». «Нет», – отвечал Бодянский и спокойно продолжал свой ответ. Надеждин, смотря на его опускающиеся глаза и слыша постоянно ровный книжный язык, сказал: «Извините меня, г. Бодянский, пожалуйста к кафедре». Бодянский замолчал, послышался стук и топот: это Бодянский приближался к кафедре, стал перед нею и с невозмутимым спокойствием продолжал свой ответ, точь-точь как на задней лавке. «Сделайте милость, извините меня, – сказал Надеждин, – прекрасно, прекрасно!»».

С «хохлом», как дружески называл Бодянского Станкевич, они часто сидели рядом на лекциях. Оба тогда увлечённо занимались исторической наукой у профессора М.Т. Каченовского. Правда, Станкевич в меньшей степени. И тем не менее под руководством уважаемого наставника Станкевич пишет трактат о Великом Новгороде, а в 1834 году в «Учёных записках Московского университета» публикует статью «О причинах постепенного возвышения Москвы до смерти Иоанна III». С благословения Каченовского свою первую научную работу – «О мнениях касательно происхождения Руси» в том же году и в том же издании печатает Бодянский.

Молодые люди сблизились и на почве поэзии. Бодянский тоже писал стихи. Причём как на русском, так и на украинском языке, читал их Станкевичу.

Тот, в свою очередь, порекомендовал его «вирши» профессору Надеждину, который выпускал журнал «Телескоп» и газетное приложение к нему «Молва». В «Молве» были опубликованы первые ранние стихотворения Бодянского, в том числе на украинском языке. Одно из них – эпитафию – молодой поэт посвятил полководцу, государственному деятелю Богдану Хмельницкому, благодаря которому Запорожская сечь и Левобережная Украина вошли в состав Русского государства. Стихотворение написано в торжественном стиле, как того и требует этот жанр:

¹ Н.И. Надеждин – учёный, критик, философ и журналист, этнограф. Действительный статский советник, профессор Московского университета.

*Богдане! Батьку наш! Осъ де ти спать уклався!..
Спи, Тату!.. Бо своє ти вже опрацював...
Спасет Біг! Нас, дітей своїх, ти не цурався!
Да тільки жаль, що ти не довго панував!..*

В ряде других стихотворений Бодянского также звучат патриотические мотивы и одновременно тревога за судьбу, как это сейчас принято говорить, славянского мира. В стихотворении «Русский к братьям своим соплеменникам» поэт обращается к славянам жить в дружбе, прекратить распри, ибо раздоры только на руку недругам:

*Здорово, братцы, род и племя,
Одноутробники, друзья,
Колено наше, наше семья,
О всеславянская семья!*

*Привет вам Русского народа,
Его Царя, его бояр;
Ведь одного вы с нами рода?
Зачем же не один и Царь?*

*Когда-то, в стары годы жили
Славяне братски меж собой,
Как птицы, волюшку любили
И свой во всём Славянский крой.*

*Володарям своим послушны,
Любили горячо своих,
В дому своём, на поле дружны,
Грозой были для чужих.*

*Но скучно счастье без горя,
Приелась братская любовь,
И вот от моря и до моря
К самоубийству слышен зов.*

*Летит колено на колено,
И брат на брата меч занёс,
Валятся головы, как сено,
Расстался с жизнью, где не рос.*

*Врагам того лишь только надо!
Как волки гладны впопыхах,
Терзают жен, отцов и чада, –
И вольный Славянин в цепях!*

В заключительных строках этого стихотворения автор призывает славян «соединить силы», «обнять брат брата» и «составить Всеславянский хор». Как актуальны эти строки в нынешнем XXI веке, когда вновь нет лада в славянском доме!

И если бы только эти строки! Годы позже, Бодянский, словно побывав в нашем времени, пророчески написал о политике Европы в отношении России:

*Вы подымаетесь на нас,
Как на гонителей свободы?
Пусть так, а всё же, спросим вас,
Кто спас ещё в недавни годы
И вас, и Запада народы
От самовластия проказ?*

Остаётся только и сказать, что комментарии излишни...

Во время учёбы в университете Бодянский через своего земляка профессора М.А. Максимовича познакомился с Николаем Васильевичем Гоголем. Произошло это в 1832 году. Сохранились записки литератора Н.В. Берга о дружбе Гоголя с Бодянским: «Каким-то таинственным магнитом тянуло их тотчас друг к другу: они усаживались в угол и говорили нередко между собой целый вечер горячо и одушевлённо». Если же Бодянский отсутствовал в числе приглашённых, то «появление Гоголя на вечере, иной раз нарочно для него устроенном, было почти всегда минутное. Пробежит по комнатам, взглянет; посидит где-нибудь на диване, большей частью один; скажет с иным приятелем два-три слова из приличия <...> – и был таков».

Гоголь стал ещё одним связующим звеном между Станкевичем и Бодянским. Станкевич очень любил Гоголя. Благодаря Бодянскому он узнавал все последние новости о писателе и читал в рукописях некоторые его произведения. К слову сказать, Станкевич был в числе первых, кто распространил в Москве громкую молву о великом таланте Гоголя. Этот факт подтверждает в своих воспоминаниях С.Т. Аксаков.

В 1834 году Бодянский успешно окончил университет со степенью кандидата словесных наук. Его диссертация на эту степень, напечатанная в 1835 году в «Сыне Отечества» и в «Северном Архиве», озаглавлена: «О мнениях касательно происхождения Руси». Одновременно он выпустил сборник стихов «Наські українські казки» («Новые украинские сказки» – Н.К.) и опубликовал в московских изданиях две рецензии, посвящённые сборнику пословиц В.Н. Смирницкого и малороссийским повестям Г.Ф. Квитка-Основьяненко.

В 1835 году в университете была учреждена кафедра истории и литературы славянских наречий, на которую Бодянский тут же был принят. Затем была блестящая защита магистерской диссертации «О народной поэзии славянских племен». Примечательно, что после этой защиты Бодянский стал первым в истории России магистром славянской филологии. Вскоре молодой учёный был отправлен в научную командировку по славянским землям, чтобы детально изучать словесность, палеографию и древности.

В 1837 году, в самом начале своего путешествия Бодянский прибыл в Прагу, где работали тогда такие известные учёные-слависты, как Ф. Палацкий, Й. Юнгманн, В. Ганка и П.Й. Шафарик. Именно с Шафариком у Бодянского сложились наиболее тесные отношения. Шафарик являлся в какой-то степени знаковой фигурой для всей тогдашней славянской культуры. В 1826 году им была написана книга «История всех славянских языков», ставшая огромным событием в истории славистики. В фундаментальном труде, созданном этим чешским учёным, славяне впервые увидели себя в стройном порядке на глазах всей Европы, как единый народ. Несомненная заслуга Шафарика заключалась

ещё и в том, что он выдвинул новую задачу для истории литературы – изучить все славянские литературы в их сходстве и различии. Этим он отдалённо предвосхитил предложенную в XX веке концепцию единства мировой литературы.

Под руководством Шафарика Бодянский изучал в Праге чешский язык, работал над рукописями Чешского национального музея, исследовал пражские книгохранилища. Кроме того, учёный осуществлял перевод работы Шафарика «Славянские древности» на русский язык.

Находясь за рубежом, Бодянский собрал большую библиотеку изданий XIII–XIX веков, насчитывающую почти 3 тысячи книг. В частности, она содержала труды чешского учёного Йосефа Добровского, словацкого филолога Антона Бернолака, сербского лингвиста Вука Караджича, а также словари, хрестоматии, буквари славянских языков, сборники, периодические издания, сочинения по истории, географии и славянографии. В 1843 году часть этой библиотеки была приобретена Московским университетом и в настоящее время хранится в его фондах.

В 1842 году Бодянский вернулся в Москву, занял кафедру истории и литературы славянских наречий и был утверждён в должности экстраординарного профессора. Общей программы преподавания славистических дисциплин не было, и учёный составлял её сам. Он преподавал сравнительную грамматику славянских языков, славянские древности, историю литературы славянских народов и историю славян в целом. Бодянский первый среди учёных-славистов России читал лекционные курсы по славяноведению, основываясь на собственных записях, а не только на трудах зарубежных учёных.

Один из биографов оставил нам словесный портрет Бодянского:

«Своей невзрачной фигурой, чтобы не сказать более, он запечатлевался в памяти при первом же виде. Фигура эта дозволила одному товарищу-профессору, отличавшемуся колкостью речи, посвятить Бодянскому недобрый экспромт:

*Возри на зверя-бегемота,
На дальний типографский двор:
Глаголица – его охота,
И по-древлянки он остёр.*

Действительно, небольшого роста, сутуловатый, с огромной головой на толстой и короткой шее, с испорченными болезнью, врозь глядящими глазами, с прямыми “гетманскими” усами, и всё это на коротких ногах без пальцев, Бодянский был некрасив, а походкой своей, пожалуй, напоминал и упомянутого зверя. Но эта некрасивая оболочка вмещала в себя высокий дух, который носителя своего возвышал над уровнем, не позволял ему входить в соглашение. Упрямо-точный до смешного (известен рассказ о Бодянском, как он нового арендатора университетской типографии впустил в помещение не раньше, как с боем двенадцати часов 31 декабря – он встал тогда с единого оставленного им кресла и освободил – теперь навсегда – “типографский двор”), твёрдый в своих решениях и в то же время приветливый, с отменно добрым, мягким сердцем, Осип Максимович сторонился всего, что заключало в себе хоть малейший намёк на низость, холопство, или грязный практицизм, и даже в самые трудные, критические минуты своей жизни был всегда одним, до самозабвения».

Вся жизнь Бодянского была связана с родной альма-матер. Он являлся секретарём Общества истории и древностей российских при Московском

университете, на эту должность его избрали в 1845 году. Кроме того, Бодянский редактировал издание «Чтения в Обществе истории и древностей российских», первого научного издания в России, посвящённого славистике. В нём публиковались памятники славянской письменности, переводы работ зарубежных учёных-славистов, а также первые работы отечественных специалистов по славяноведению.

Печатались там и материалы, не имевшие непосредственного отношения к зарубежным славянам. Роковой для Бодянского стала публикация в «Чтениях...» воспоминаний английского посла Флетчера. Из-за этого материала, как уже сказано, учёный вынужден был оставить и кафедру, и журнал. Но опала длилась недолго – через год он вновь вернулся на кафедру. В 1854 году Бодянский был избран членом-корреспондентом Императорской Академии наук, а его докторская диссертация, озаглавленная «О времени происхождения славянских письмен», вызвала широкий отклик в российском научном сообществе, её активно обсуждали в печати, в целом она получила высокую оценку специалистов.

На кафедре истории и литературы славянских наречий университета Бодянский проработал до 1868 года. Осип Максимович также способствовал выходу в свет поэмы Гоголя «Мёртвые души». Он также помогал своему земляку Тарасу Шевченко, автору «Кобзаря».

К слову сказать, Гоголь неоднозначно относился к творчеству Шевченко. «Дёгтю много», – так выразился однажды писатель о его стихах. «Бодянский не выдержал, стал возражать и разгорячился, – вспоминал о том разговоре писатель Г.П. Данилевский. – Гоголь отвечал ему спокойно. “Нам, Осип Максимович, надо писать по-русски, – сказал он, – надо стремиться к поддержке и упрочнению одного, владычного языка для всех родных нам племён. Доминантой для русских, чехов, украинцев и сербов должна быть единая святыня – язык Пушкина, какую является Евангелие для всех христиан, католиков, лютеран и гернгутеров...” “Нам, малороссам и русским, нужна одна поэзия, спокойная и сильная, – продолжал Гоголь, останавливаясь у конторки и опираясь на неё спиной, – нетленная поэзия правды, добра и красоты. Я знаю и люблю Шевченко, как земляка и даровитого художника; мне удалось и самому кое-чем помочь в первом устройстве его судьбы...”».

Умер Осип Максимович Бодянский в первых числах сентября 1877 года. Похоронили его в Новодевичьем монастыре рядом с его коллегами М.П. Погодиным, Ф.И. Буслаевым... «Не много было у нас таких самоотверженных деятелей, каким был Бодянский, – написал о нём современник. – Нельзя не признавать его заслуг, как заслуг важных, достойных благодарности обществу».





ПОЭЗИЯ

Тамара ПОТЁМКИНА

Тамара Викторовна Потёмкина – поэт, прозаик, переводчик. Родилась в Иркутской области. Член Союза писателей России, кандидат исторических наук, доцент. Автор шести сборников стихов, двух книг прозы, сборника поэтических переводов стихов непальских поэтов и двух музыкально-поэтических альбомов. На стихи Тамары Потёмкиной написано свыше 40 песен. Стихи и рассказы, а также переводы произведений болгарских, непальских, чеченских, ингушских и дагестанских поэтов опубликованы в журналах «Великороссь», «Невский альманах», «Новые витражи», «Камертон», «Luttera», альманахах «Золотое руно», «Москва поэтическая», «Славянская лира», «Святые сердца» (Луганск), «Айсберг в пустыне» (ДНР, Горловка), газете «Московский литератор» и др. Победитель и лауреат всероссийских и международных литературных конкурсов и премий.

Живёт в Москве.



Воспоминания любви

Снег

Какой густой сегодня снег
Летит к нам из небесной бездны,
И, кажется, Господь навек
От бед избавит неизвестных.

Как медсестра на поле брани
Спасает раненых в боях,
Он, словно белыми бинтами,
Всю землю кутает в снегах.

От снега всё белым-бело,
И кажется, что мир стал чище,
И зло из душ людских смело,
И радость наполняет мысли...

И я бреду под этим снегом,
Вся в белом с головы до ног,
И верю, где б сейчас ты не был,
Забуть прошедшее не мог:

Как шли по сказочному лесу
На лыжах, и метель мела,
Зима волшебницей чудесной
Плела из снега кружева.



Как целовались на морозе,
От страсти закипала кровь,
И как клялись седой берёзе
Навеки сохранить любовь.

Уже давно ты не со мною,
Господь тебя благослови.
Чисты, как белый снег зимою,
Воспоминания любви.

Метель

Снова метель за окном завывает,
И белым снегом укрыта земля.
Годы уходят и забирают
Время, когда была счастлива я.

Тайные мысли, «случайные» встречи.
Взгляды смущённые, смелые руки,
Жаркие ночи и страстные речи,
Вспышки блаженства и горечь разлуки.

Дни, когда весело, радостно было
Лишь от того, то ты есть, что живёшь,
Дни, когда сердце пылало, любило,
И было неважно – придёшь, не придёшь.

А за окошком сугробы всё выше,
Как на погосте, метель голосит.
Не запугает, я чувствую, слышу:
Где-то весна, и дождь моросит.

Ушедшим друзьям

За гранью неба завершили путь
Прошедшие жизнь грешную земную
Мои друзья, которых не вернуть,
И наяву увидеть не смогу я.

Глаза, улыбки, радость наших встреч,
Мечты, свершения, ночные споры,
Надёжность рук и крепость сильных плеч,
Поддержка делом, а не разговором –

Всё это в сердце раненом живёт.
И хоть уже не возвратит друзей,
Жива любовь, и дружба не умрёт,
Они навеки в памяти моей.



Плащ-палатка

У всех есть бабушки, но моя бабушка Екатерина Сергеевна была лучше всех. Её сморщенное лицо расплывалось в улыбке каждый раз, как она видела меня. Я помню её с раннего детства, она всегда была рядом. Помню её натруженные руки, непропорционально большие для её худенького тела, с опухшими суставами и голубыми венами, выступившими под тонкой кожей. Бабушка ежедневно топила приземистую печку, побелённую известкой, готовила обед на большую семью, кормила, поила, утешала. Теперь слегла, ей под восемьдесят. В один из жарких июльских дней она попросила позвать папу и сказала ему: «Свози меня, сынок, перед смертью на родину. Хочу с родными могилами проститься и оставленного деда повидать».

На семейном совете решили ехать втроём: папа, бабушка и я. Мама, черноглазая украинка, врач-педиатр в местной поликлинике, вечно занятая своей работой, осталась дома кормить нашу живность: кроликов, кур да вороватую кошку Енку. Когда папа упаковывал наши вещи в старый чемодан с потёртыми углами, он никак не мог поместить туда свою солдатскую плащ-палатку – замки не застёгивались. «Папа, сейчас же лето, – сказала я, – жара ужасная. Зачем тебе плащ-палатка?» «Отправляясь в дальний путь, аккредитив взять не забудь, – улыбнулся он. – Слышала такую фразу? А я, старый солдат, прошедший две войны, финскую и Отечественную, возьму с собой плащ-палатку, пригодится».

В назначенное время к подъезду подъехала старая раздолбанная легковушка папиного приятеля дяди Коли, который стал так сигналить, что соседи высунулись из окон: «Что там? Что?» Тут появились мы: папа, нёсший чемодан и авоську с едой, и бабушка, которую я вела под руку. Не думайте, что мы ехали на машине до самой Богдановки. Нет, дядя Коля довёз нас только до вокзала в Донецке, там мы сели в поезд и всю ночь ехали до Днепропетровска. Там папин план дал сбой – мы опоздали на автобус до Богдановки.



Анна Дмитриевна Маякова – поэт, прозаик, переводчик, член МГО СП России и Союза писателей-переводчиков. Автор шести книг. Печаталась в литературных журналах и альманахах «Великороссь», «Притяжение», «Литературная Республика», «Канатоходцы», «Муза». Дипломант литературного конкурса «Лучшая книга» 2013-2014 и 2015-2017 гг. Финалист Международной ассамблеи писателей (Варна). Награждена Серебряным Крестом и медалью «Звёздная строфа». Живёт в Москве.



День только начинался, но уже было жарко. Бабушка в платочке и новой ситцевой кофточке сидела на чемодане под тенистым ясенем и всё повторяла: «Господи, дай силы добраться до места, а там и помирать можно». «Бабуль, ну, прекрати» – просила я, девчонка, для которой смерть была чем-то далёким. «Прекрати, не прекрати, а время пришло, – отвечала бабушка, глядя на меня запавшими глазами. – Ты дитя ещё, не понимаешь». «Никакое я не дитя, мне пятнадцать лет». Повернувшись, пошла к отцу, стоявшему у развилки в надежде поймать попутную машину. Он курил свой «Беломор», глядя на пустую дорогу – было воскресенье. «Какой папка у меня красивый» – подумала я, любуясь военной выправкой отца, загорелым открытым лицом со шрамом на правом виске – в конце войны папа был ранен, долго лежал в госпитале. «Бабушка совсем плоха?» – спросил папа, затягиваясь папиросой. Я лишь махнула рукой.

К счастью, вскоре из-за поворота появилась невзрачная полуторка, которая как раз ехала в Богдановку. Бабушку посадили в кабину, сами забрались в кузов. И вперёд, поехали! За нами, как хвост, клубилась серая дорожная пыль, а вокруг расстилались бескрайние поля зреющей пшеницы. Вдали темнел лес. Держась за борт машины, папа смотрел на открывшуюся нам красоту.

– Смотри, доченька, смотри, как красива наша Украина, – сказал папа, и голос его предательски дрогнул. – Я здесь родился, вырос, здесь прошло моё детство. Когда мне исполнилось пятнадцать, я уехал с товарищем в рабочий посёлок и, приписав себе год, устроился на рудник – добывать железную руду, нужную для индустриализации страны. Потом меня призвали в армию, наскоро обучили пехотному делу и отправили воевать – началась война с Финляндией.

Я никогда не видела папу таким. Я спросила: «А почему ты никогда не рассказывал о войне?» «Почему? – переспросил папа. – Потому что хотел забыть эту войну, забыть белые маскировочные халаты финнов, передвигавшихся на лыжах по снегу, словно ветер. Хотел стереть из памяти звезду, вырезанную финнами на груди у нашей молоденькой медсестры. Мы отсутствовали чуть больше часа, выполняя задание. И за это время все сёстры и раненные в госпитале были зарезаны, все до одного. Ты это хотела услышать?» Застыв от смущения и боли, неожиданно пронзившей моё юное сердце, не знавшее ужасов войны, я пробормотала: «Папа, прости, я не знала... А кем ты работал на руднике?», – поспешила сменить тему разговора. «Меня определили помощником в бригаду подрывников». «И ты взрывал руду? Тебе это нравилось?» «Да, нравилось, потому что тогда я не знал, что впереди нас ждёт война». «Пап, может мне тоже устроиться на работу? Ведь мне уже пятнадцать», – я взглянула на отца, отметив, как смягчилось его лицо. «Нет, теперь другие времена, – отвечал папа. – Детям нет необходимости работать. Учись, дочка, грызи гранит науки. Ведь у нас всё есть, живём хорошо, войны нет, не голодаем». Для людей папиного поколения главным критерием жизни было то, что «войны нет, и не голодаем».

Неожиданно налетел ветер, прилетевший ниоткуда, небо нахмурилось, грозно потемнело, и первые крупные капли дождя упали на наши плечи. «А вот и дождь!» – воскликнул папа, быстро нагнувшись, достал из чемодана свою плащ-палатку, лежавшую сверху, и, борясь с ветром, пытавшимся вырвать её из рук, накрыл меня и себя. Дождь часто забарабанил по нашему укрытию, вдали сверкнула молния, и ухнул гром. «Ну что, дочка, пригодилась плащ-палатка?», – спросил папа, улыбаясь глазами. Мне показалось, он

был рад этому дождю. «Да уж конечно, – ответила я и прижалась к нему. – Папка, я так тебя люблю!» «Ладно, ладно, – остановил меня папа, не любивший сантиментов. – Скажешь это деду Фёдору по приезду».

Когда папа, Маяков Дмитрий Фёдорович, 1915 года рождения, кавалер ордена Красной Звезды и ордена Красного Знамени, умер, мы облачили его в белую рубашку, выходной костюм и не надёванные ни разу финские туфли, купленные мной в «Берёзке». Сверху всю эту печальную «красоту» мы накрыли папиной плащ-палаткой. Спи, Солдат...



ПОЭЗИЯ

Валерий БОКАРЁВ

Валерий Бокарёв (Бокарев Валерий Павлович) – член Московской городской организации Союза писателей России, поэт, лауреат конкурса имени Анны Ахматовой 2014 г.; победитель Международного конкурса «Национальная литературная премия Золотое перо Руси – 2021», автор семи сборников стихотворений и многочисленных публикаций стихов и прозы в газетах, журналах и ежегодных конкурсных альманахах и сборниках. Выпускник химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, учёный физико-химик, доктор технических наук, профессор кафедры микро- и нанoeлектроники МФТИ, ответственный секретарь научно-технического журнала «Электронная техника. Серия 3. Микроэлектроника», автор более 200 научных статей и патентов на изобретение, двух учебных пособий и монографии.

Живёт в Москве.



Россию победить нельзя!

Русь

Перед разливами времени ходим мы.
Сеть бы закинуть и выловить суть.
Сны мои милые, сны моей Родины,
Дайте хоть краешком в вечность взглянуть.

Ложится вечер на берег синий.
В туман уткнувшись, стога застыли.
Покой... Он вечен в моей России –
Мечты и сны Её мир вместили.

И снятся старые Ей дубравы,
Народ могучий и глухомань;
Монголов орды, варягов кары;
Походы, смуты, опять расправы
И с кровью собранная дань.

По берегам в степи курганов череда.
Прости и отпусти, пусти меня туда,
Где был закрыт эллинам дальний путь,
Где стук копыт мешал передохнуть.

Но время оставляет только мифы,
И мифы говорят – здесь жили скифы.

По Греции ползёт упорный слух,
Что где-то за далёкими морями,
За ковкою железа свой досуг
Справляют хмурые и сильные славяне.

Их земли велики, их силы велики.
И хорошо, что очень далеки
Их рубежи –
Пред ними всё бежит.
У них всё есть,
А золота – не счесть.

Но тропы все туда забыты.
Захватчики – давно убиты.
Зимой там холод дик, и не велик уют.
Но всё же там живут, и белый чистый лик,
И синие глаза туда ведут –
Ты не опомнишься, закружат, завлекут.

Тебя люблю, Тебя я обожаю,
Моя земля, воистину моя!
Мне кажется, что я цветы сажаю,
Моя любовь, тебя я украшаю,
Тобою поглощён, творя!

Я знаю, что воспеть мне не удастся
Всё то, что я увидел – не хватает слов.
Как будто бы читаю Часослов –
Я это всё предвидел:
И колокол, который вновь раздастся.

Однажды я услышал его зов.
Как жаль, что вскоре он унялся,
Затих. Ликует тёплый кров,
Что над людьми горой поднялся.

Надолго ли? Пожалуй, нет.
И пусть горит пока макет,
Но вскоре вспыхнет мир мещан,
Которых сон давно объял,
И разом многие сгорят.
Так иногда рванёт снаряд
Упругой, рушащей волной...
И мир наполнится войной.

Тысячелетия дремали,
Но даже сном своим нагнали
Соседям страх,
И те дрожали!
Как будто мы их всех держали
В своих руках!

В Европе знали – мы проснёмся
И над Европой пронесёмся
Как ураган.
Европа думала – спасёмся,
Но как? Отбить? Не отобьёмся.
И кинулась тогда в обман:
Оружие пока сложила
И русских с Западом сроднила.

Но звон мечей и их мерцанье
Не раз тревожили сознание
Твоих сынов, будя их пыл.
Тогда под грозностью их взора,
Дороги пятились к просторам,
И Альпы уходили в тыл.

Темно на поле Куликовом.
Застыла на холмах Орда.
Россия вновь в обличье новом
Встаёт – одна и не одна.

Её полки – леса в тумане,
Её бойцы – с полей земля.
Орда бежит, Орда в аркане –
Россию покорить нельзя!

Века идут, века гудят.
В лесу деревья говорят:
В России властвуют цари,
Но навсегда ли в Ней они?

Когда Европа в первый раз коснулась
Нас остриём надменного штыка,
Как от огня обратно отшатнулась,
Хоть нам была победа не легка.

Быть может, гений Наполеона
Полмира б смог завоевать,
Когда б ему те легионы
Не на Россию направлять.

Она мела его снегами,
Дороги путала, казня.
И он увидел – не солгали,
Когда душе его сказали,
Россию победить нельзя!

Не раз Ты поднималась смутой,
Отмщением за жизнь горя.
И не был тот порыв минутным,
Когда в февральский холод лютый
Ты отказалась от царя.

Ещё б чуть-чуть, и много краше,
Свободней стала.

Но снова потянулись смуты,
И снова Ты одела путы –
Устала.

Колчак и немцы – всё смешалось,
Исчезли человечность, жалость.
Ночь. Человек у стены, словно вор.
Красный террор и белый террор.

Кровью залита часть мостовой,
Много убитых, ужас – не бой.
Сын на отца, на товарища – друг.
Голод, болезни накиннулись вдруг...

Смута иссякла, убрана муть.
Думала, верный Ты выбрала путь.

Тысячелетия лепили те устои,
А ныне – всё прошедшее – пустое.
Стал человек душепродавцем, вором.
В церквах закрытых ограблений след.

И прошлое ответило с укором, –
Всеобщим мором будет мой ответ.

Воздвигнут был в Москве героям храм,
Но он кому-то очень помешал.
Полвека простоял, прошла ещё минута,
И динамита облачная смута
Его накрыла. Кирпичей обвал,
На месте храма – хлам.

На нас вина с начала века,
С тех лет, что вспоминают вновь,
Когда губили человека
За правду, совесть и любовь.

Русский витязь

На священной Козельской земле,
Буроватой от пролитой крови,
Оловянный солдатик блестел,
Оказавшись случайно на воле.

Я поднял его. Меч перебит,
И по бёдра отрублены ноги.
Но по-прежнему грозно глядит.
Он по-прежнему гордый и строгий!

Русский витязь! Я слышу войну,
Звон мечей, лошадиное ржанье.
И к тебе я на помощь иду
Сквозь баллады, кресты и преданья.

Нет, таких россиян покорить
Невозможно! И хан это знает.
Потому-то решил их убить,
Потому-то детей убивает!

Русский витязь, я вместе с тобой!..
Тихо ветер меня овевает.
Там, под кручей, сады и покой.
И у речки мальчишки играют.

Русский витязь, нас мало опять!
Тот спился, тот погиб, тот уехал.
Кто же будет страну защищать?
А в ответ только долгое эхо.

Но я знаю, в дремучих лесах
До поры спит могучая сила.
Напади только кто-то на нас,
Разнесёт эта сила полмира.





Квартира № 13

ДВЕ СКАЗКИ

Пьеса в трёх действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Мария Сергеевна – врач, 30 лет в первой сказке, 33 года во второй сказке.

Елена Сергеевна – её сестра – 31 год.

Катя – дочь Марии Сергеевны, 9 лет в первой сказке, 12 лет во второй сказке.

Маруся – 12 лет.

Буся – 7 лет.

Клавдия – жиличка квартиры №13, соседка Марии Сергеевны, 35 лет.

Милочка – её дочь, 12 лет.

Серафимовна – жиличка квартиры №13, соседка Марии Сергеевны, 65 лет в первой сказке, 68 лет во второй сказке.

Мара – жиличка квартиры №13, соседка Марии Сергеевны, 35 лет.

Хрисанфыч – жилец квартиры №13, сосед Марии Сергеевны, 32 года.

Милиционер.

Неизвестный мужчина.

Неизвестная женщина.

Первое и второе действие происходят в октябре 1941 года, третье – в октябре 1944 года. Место действия – Москва.

Действие первое СКАЗКА ПЕРВАЯ

Комната в коммунальной квартире. В комнате круглый стол под скатертью, шкаф, буфет, комод, диван, железная кровать, этажерка с книгами, потолочная лампа с жёлтым абажуром и кистями, такая же настольная лампа. На подоконнике керосиновая лампа. В простенках венские стулья. На стенах старинные часы в деревянном корпусе, фотографии в рамках, в том числе большая фотография молодого мужчины в



Светлана Георгиевна Замлелова – родилась в Алма-Ате. Окончила РГГУ. Член Союза писателей России и Союза журналистов России. Автор книг прозы «Гностики и фарисеи» (повести и рассказы), «Посадские сказки», «Блудные дети» (роман), «Исход» (роман) и др. Автор переводов французской и болгарской поэзии. Кандидат философских наук (МГУ им. Ломоносова), автор философской монографии «Приблизился предающий... Трансгрессия мифа об Иуде Искариоте в XX–XXI вв.» Отмечена Благодарностью Министерства культуры РФ. В 2022 г. США и Великобритания внесли Светлану Замлелову в санкционные списки.

Живёт в Сергиевом Посаде.



военной форме и карточка поменьше – Сталина. На стене над кроватью – чучела белки с шишкой в лапах и совы. На комодке на белой вязаной салфетке – фарфоровая собака. На столе лежат газеты и книга.

Окно заклеено крест-накрест полосками белой бумаги. В окне видны голые ветки деревьев, чуть заснеженные. Видно небо – серое, низкое, набрякшее; к вечеру, уже тёмное, оно исчерчено перекрещивающимися лучами прожекторов. Весь день идёт мокрый снег, стекло в каплях, на ветках – снег. С улицы всё время доносится какой-то шум – грохот проезжающих машин, вой сирены, людские голоса.

Катя с завязанным горлом лежит в кровати. Она одета в белую ночную рубашку, волосы заплетены в две косички до плеч. На ближайшем стуле сидит Мария Сергеевна, держит книгу в руках. Она в белой блузке и тёмной юбке, выглядит даже нарядно.

Мария Сергеевна (*читает с выражением*). «Мы долго молча отступали, досадно было, боя ждали, ворчали старики...»

Катя (*перебивает*). А правда, что Москву немцам отдают?

Мария Сергеевна (*испуганно*). Что? Кто тебе это сказал?

Катя. Иван Хрисанфович говорил.

Мария Сергеевна. Что он говорил?

Катя (*скороговоркой*). Что все разбежались, что Сталин уехал, что власти в Москве нет, что немец со дня на день войдёт и что нужно бежать.

Мария Сергеевна. Господи! Когда он успел тебе это сказать – его два дня дома нет?!

Катя. Ну, помнишь, он перед тем, как исчезнуть, денег у тебя занимал?

Мария Сергеевна. Помню, конечно!

Катя. Ну, он тогда два раза заходил. Когда тебя не застал, сказал: «Беги, Катерина, никому мы здесь не нужны». Ну и про немцев, про Сталина...

Мария Сергеевна (*закрывает книгу и кладёт её на стол*). Нашла, кого слушать! Этот Иван Хрисанфович тебе наговорит. Теперь понятно, куда он исчез! В бегах, значит. Ну а ты-то? Ты!.. Ты что, маленькая? Тебе уже девять лет, а повторяешь какие-то глупости. Тем более за Иваном Хрисанфовичем. Вон (*кивает на фотографию на стене*), отец с фронта вернётся, замуж тебя отдадим, чтобы не болтала лишнего.

Катя (*смеётся*). Нет! Я не пойду замуж. Не пойду!

Мария Сергеевна. Кто тебя спрашивать будет. Ну сколько раз я тебе говорила, чтобы ты не слушала этого человека. Он Бог знает что городит. Нельзя его слушать!

Катя. Что же, мне его гнать? Да и не он один говорит.

Мария Сергеевна. Кто же ещё?

Молчание.

Мария Сергеевна. Катерина! Кто ещё говорил тебе о немцах?

Катя. Ну... Милочка говорила.

Мария Сергеевна. Ах, Милочка! Поверить не могу! Я считала её серьёзной, ответственной девочкой. А она забивает тебе голову разным вздором. Сегодня же поговорю с ней, чтобы она...

Катя (*перебивает*). Ой, не надо! Ну, мамочка, ну, не надо! Ей тоже Иван Хрисанфович сказал. Не говори ей ничего!

Мария Сергеевна. Ну, хорошо, хорошо. Обещаю, что ничего не скажу. Только прошу тебя не повторять того, о чём болтают. Во-первых, это не правда, этого не будет! Во-вторых, это даже опасно – паникёров всегда наказывают. А в-третьих... В-третьих, никто Москву не отдаст! Поняла? Никто!

Стук в дверь.

М а р и я С е р г е е в н а. Войдите!

Входит К л а в д и я. На ней тёмная юбка и жакет. Волосы с перманентом разделены пробором. К л а в д и я выглядит растерянной.

К л а в д и я. Здравствуйте, Мария Сергеевна! Здравствуй, Катерина.

М а р и я С е р г е е в н а (*встаёт навстречу*). Добрый вечер, Клавдия Леонидовна!

К а т я. Здрасьте, тётя Клава.

М а р и я С е р г е е в н а. Проходите.

К л а в д и я. Да что уж... Сама не знаю, зачем пришла – посоветоваться, что ли... Не знаю... Плохи наши дела!

М а р и я С е р г е е в н а (*бодро*). Конечно, плохи. Сейчас середина октября, и вот уже почти четыре месяца наши дела плохи. Мой и ваши мужья где-то стреляют, и кто-то стреляет в них, мы уже перебиваемся с картошки на селёдку. И что ещё можно сказать о наших делах, кроме того, что они плохи!

К л а в д и я. Да ведь немцы-то пострашнее селёдки будут. Прямо ума не приложу, делать-то что, бежать куда. Ничего не соображаю!

М а р и я С е р г е е в н а. Да о чём вы?!

К л а в д и я. О том, что нас немцу сдают. Сталин, говорят, уехал. Власти в городе никакой, на улицах хаос первозданный – все бегут, тащат чего-то. Точно переселение народов. Сами не понимают, куда бегут – никто ничего не понимает!

М а р и я С е р г е е в н а. И вы туда же!

К л а в д и я (*как будто не слышит, говорит, как в забытьи*). И как это, не пойму: Москву – немцам отдать... Вот так прямо всю Москву – с домами и улицами, с Кремлём и... с нами... Как же это?

М а р и я С е р г е е в н а. Клавдия Леонидовна, дорогая! Вот только что я этому дитяти неразумному втолковывала (*указывает на Катю*), что слова такие есть паника и вредная ложь. А тут появляетесь вы и – пожалуйста! Это Хрисанфыч сеет в нашей квартире настроения.

К л а в д и я. Да что уж там – Хрисанфыч. Бог с ним совсем, с Хрисанфычем. Он уж два дня дома не появляется, так что и неизвестно, где он и жив ли он. Тут другое. Вы на дежурство-то завтра?

М а р и я С е р г е е в н а. Да, сегодня дома. Пока Катя болеет, я с ней сижу, если в больницу не надо.

К л а в д и я. Вот то-то! А я сейчас воротилась. Утром пришли на фабрику – начальства нет никого. Туда, сюда, звонить... Ничего! Стало быть, знали в руководстве-то – не просто так исчезли. Наши говорят: постановление вышло, вроде как правительство и все начальники эвакуируются в Куйбышев, на Волгу. А вы, мол, тут как хотите с немцем разбирайтесь. Так наши бабы что придумали: давайте, говорят, чтобы немцу не досталось, унесём продукцию. И давай тут конфеты, печенье по сумкам да карманам распахивать. Кто-то додумался: в конторе шторы снимали и туда всё – в узлы. Хотела было и я сумку набить, да боязно: ну, как задержат! Воровка, скажут.

М а р и я С е р г е е в н а. И правильно! Правильно вы рассудили, Клавдия Леонидовна. Всё так и было бы. Даже хуже! Вас бы не воровкой назвали, а мародёршей. А знаете, что бывает за мародёрство?..

К л а в д и я. О, Господи!..

Подходит к столу. Достает из карманов горсть конфет и пачку печенья.

К л а в д и я (*извиняющимся голосом*). Да я немного и прихватила-то. Вон, Катерине болящей, да Милочке моей. (*Шёпотом*). На фабрике говорят, что с полсотни коммунистов у нас партбилеты изничтожили. И везде то же. А ещё – сама видела – на улицах книги о партии и портреты (*как будто побиваясь, косится на фото Сталина*). Так и валяются! Немцев боятся!

М а р и я С е р г е е в н а (*грозно*). Это трусы, Клавдия Леонидовна! Трусы и мародёры. Придёт время, разберутся и с ними. И никто Москву не сдаст! Нас не бросят. И Москву не бросят. Враньё это! За конфеты спасибо. Но лучше бы вы их не брали.

К л а в д и я. Да Бог с ними, с конфетами! Другое страшно... Хорошо, если не бросят. А только вся Москва бежит, как ошпаренная. Вон, в трамвайном-то депо бухгалтер на казённой машине со всей кассой дёру дал. Что это? А вот что: знают они, оттого и бегут.

М а р и я С е р г е е в н а (*умоляюще*). Клавдия Леонидовна, миленькая! Ну что они знают! Что, например, может знать бухгалтер из трамвайного депо? Да трусы они, оттого и бегут. Вы знаете, что сегодня в шестнадцать часов по радио товарищ Пронин выступает? (*Смотрит на часы на стене*). Пойдёмте уже на кухню – десять минут осталось. Катя (*обращается к Кате*), мы пойдём на кухню товарища Пронина по радио слушать. Я попрошу Милочку, чтобы она зашла к тебе, посидела с тобой, пока нас нет.

М а р и я С е р г е е в н а и К л а в д и я выходят. К а т я садится в кровати и смотрит на сову и белку.

К а т я. Определённо, эта белка похожа на чёрта. Эти уши с кисточками напоминают рога, а изогнутая спина – горб, как в книге про Квазимодо. Нет, эта белка похожа на горгулью. И в лапах у неё не шишка, а бомба.

Стук в дверь. Входит М и л о ч к а.

М и л о ч к а. Здравствуй, Катя.

К а т я (*обрадованно*). Здравствуй. Садись ко мне.

М и л о ч к а. Ну как ты сегодня себя чувствуешь?

К а т я (*машет рукой*). Хорошо! Я бы уже встала, да мама не даёт. Говорит, что после scarлатины нужно отлежаться, потому что есть нечего, силы брать неоткуда. А я уже и так почти целый месяц валяюсь. А вы что делали?

М и л о ч к а. Ходили смотреть, как свиней и коров гонят.

К а т я. И куда их всё гонят?

М и л о ч к а. Не знаю, в деревню, наверное. Их давно гонят. Наверное, это последние – оставшиеся. Вот уж никогда бы не подумала, что в Москве проживает столько свиней и коров.

К а т я. А мешки так и лежат?

М и л о ч к а. Лежат! Куда им деться. Всю Москву заложили набитыми мешками, стены стоят из мешков. Мунька сказал, что это нарочно, что когда придут немцы, мы будем прятаться за этими стенами и стрелять. А я говорю: у нас и оружия-то нет. А он говорит, что дадут.

К а т я. Никто ему не даст. И нам не дадут. (*Подумав, добавляет*). И немцы не придут.

Слышится приглушённый церковный звон. Девочки умолкают, смотрят на окно.

К а т я. А что ещё в Москве нового?

М и л о ч к а (*оживляясь*). Да всё новое. Знаешь, на что теперь Москва похожа? Вот, помнишь, в прошлом году мальчишки разворошили палкой муравейник? Муравьи тогда заметались, забегали – растерялись, наверное. Москва сейчас – как растревоженный муравейник. Знаешь, кажется, будто всюду хлопают двери, все куда-то бегут и уносят всё, что можно унести. Трамваи исчезли, метро даже не работало.

К а т я. А мама сказала, что в метро теперь ночлежный дом.

М и л о ч к а (*улыбаясь*). Там теперь бомбоубежище, всё заставлено такими кроватями... Настоящее сонное царство! (*Мечтательно*). Спит «Площадь Дзержинского», спит «Маяковская» и «Сокольники» спят. Спят большие и малые станции. Спят себе спокойно и не слышат сирены, не бегут в подвал.

К а т я. И под кровать не лезут?

М и л о ч к а. Не лезут!

К а т я. Везёт! Хотела бы я жить в метро. Только бы не слышать сирены! Ненавижу эту сирену! Когда она воеет, я животом её слышу. Чудовище просто какое-то.

М и л о ч к а. Я тут подумала, что когда началась эта война, мы как будто оказались в страшной сказке. Сирена – чудовище. Самолёты – чудовища. Москва как заколдованная. Раньше она была такая нарядная, весёлая... По нашей набережной – помнишь какие пары гуляли?

К а т я. А липы наши помнишь?

М и л о ч к а. Ещё бы! Когда они зацвели летом, Серафимовна говорила: в раю живём. Такой аромат!

К а т я. Весной в прошлом году мама ветки тополиные принесла. Поставили их в воду, а ветки взяли и покрылись пёрышками. Маленькими такими зелёными пёрышками. А когда стало тепло, мы посадили их в палисаднике – там же, среди лип. И так отчего-то весело было, но отчего – теперь не помню. Помню только: мы с папой смеялись. А мама стояла рядом и улыбалась нам. Теперь не знаю: вырастут ли наши тополя?

М и л о ч к а. Вырастут, Катя!

К а т я. А липы? Липы зацветут, Милочка?

М и л о ч к а. Обязательно зацветут. Закончится война, спадут чары, и сказке конец. И всё тогда вернётся. И с фронта вернутся, и Москва красивая вернётся. Всё будет как прежде, даже лучше!

Шаги и голоса. Входят М а р и я С е р г е е в н а и К л а в д и я. Обе расстроенные. М а р и я С е р г е е в н а вытирает глаза платком.

К л а в д и я (*раздражённо*). Что я говорила? Вот вам и товарищ Пронин, вот вам и председатель исполкома Моссовета.

М а р и я С е р г е е в н а (*тихо*). Это паника, Клавдия Леонидовна. Будем слушать выступление в семь часов. Его просто перенесли, а мы будем ждать. Пока ничего не произошло.

К л а в д и я (*мрачно*). То-то вы плачете, что не произошло ничего. Да уж коли он не выступил, значит в бегах – паникуй, не паникуй... Сам Левитан сказал: переносится выступление. Переносится – по нынешним временам значит отменяется. Чего уж...

М а р и я С е р г е е в н а (*тихо, но твёрдо, упрямо*). Раз Левитан объявил: в семь часов, значит выступление будет в семь часов. И мы будем слушать.

К л а в д и я. Будем-то будем. В семь часов Левитан скажет: спасайся, кто может. Вот тогда и повеселимся. Пойдём, Людмила, до семи вещи, может, уложим. Не с пустыми же руками бежать.

К л а в д и я и М и л о ч к а уходят. М а р и я С е р г е е в н а и К а т я как будто застыли.

К о н е ц п е р в о г о д е й с т в и я .

Действие второе

Та же комната. М а р и я С е р г е е в н а и К а т я в тех же положениях, как и в конце первого действия. Горит настольная лампа. Стук в дверь, затем дверь сразу приоткрывается, и в проёме появляется голова Серафимовны. Эта седая старушка с пучком под затылком, одетая в тёмное платье.

С е р а ф и м о в н а (*нараспев*). Мо-о-ожна-а-а?

М а р и я С е р г е е в н а. Входите, Варвара Серафимовна.

С е р а ф и м о в н а входит и по привычке крутит головой, как будто ищет иконы. Не найдя, оставляет это занятие и смотрит на хозяйку комнаты.

С е р а ф и м о в н а (*вкрадчиво*). Что же, Мария Сергеевна, радиво-то будем слушать?

М а р и я С е р г е е в н а. Конечно! В семь часов. Обязательно. (*Уже не так уверенно, как в первом действии*). Товарищ Пронин должен выступить. Так товарищ Левитан сказал. С четырёх на семь перенесли выступление.

С е р а ф и м о в н а. То-то – на семь. А то Кланька узел собирает. В семь, говорит, скажут, что сдают нас. Послушаю, мол, и бежать надо.

М а р и я С е р г е е в н а (*грустно и устало*). Куда же она собралась? Как будто это так просто – взяла да и побежала. Да и куда бежать? Как только войну объявили, сестра моя с двумя детьми на Волгу подалась – там тётка у нас. Месяца не прошло, как немцы уже у Сталинграда. Сегодня скажи кому: в Сталинград эвакуировались – засмеют, и смех, и грех. А тогда тоже всё – паника. Еле ноги потом унесли из Сталинграда.

С е р а ф и м о в н а. Господи, помилуй... И куда же они оттуда?

М а р и я С е р г е е в н а. Из Сталинграда на Урал побежали. К другим родственникам.

С е р а ф и м о в н а. Ах ты, Господи! За что наказание такое?.. Вот и Кланька говорит: в Иркутск побегу. А до него поди добеги – до Иркутска-то.

М а р и я С е р г е е в н а. Да. Далеко, не добежишь. Зима на носу, по дороге и замёрзнуть можно.

С е р а ф и м о в н а. А главное-то, главное! Растерялись все, собраться не могут. Что делать, куда податься, звать кого – никто ничего не понимает. По улицам мечутся, ровно тараканы. А на других наоборот – столбняк нашёл, с перепугу и рукой двинуть не могут. Вот искушение-то...

М а р и я С е р г е е в н а. Нет. Сейчас никак нельзя впадать в растерянность или в апатию. Апатия – слишком большая роскошь на сегодня.

С е р а ф и м о в н а. Так-то оно так. Да вот, к примеру, Хрисанфыч пропал. А нам-то, соседям, что делать? Человек он одинокий, о нём и поплакать некому. Может, он стреляет где, а может, и сам в канаве лежит.

М а р и я С е р г е е в н а. Завтра надо будет в милицию.

С е р а ф и м о в н а. Он, правда, шофёр...

М а р и я С е р г е е в н а. И что же?

С е р а ф и м о в н а. Может, и укатил куда...

М а р и я С е р г е е в н а. Куда же он укатит? Да и потом шофёр-то он не сам по себе – директора института возит, машина казённая.

С е р а ф и м о в н а. Так, может, он и на казённой... того...
 М а р и я С е р г е е в н а. Бог с вами, Варвара Серафимовна! Не так-то это просто по нынешним временам.

Стук в дверь. Входит К л а в д и я.

К л а в д и я. Ну что? Идём радио слушать? (*Заметив С е р а ф и м о в н у*). И ты уже здесь!.. Ну, Серафимовна, чем нас исполком порадует?

М а р и я С е р г е е в н а. Пойдёмте.

С е р а ф и м о в н а. Ох ты, Господи! Ничего не соображаю. Что... куда... зачем...

К л а в д и я. Да ты и раньше ничего не соображала.

С е р а ф и м о в н а. А ты, Кланька, меня не задирай. Мои сыны тоже воюют. Оба лётчики.

К л а в д и я. Так то ж сыны...

Все выходят. К а т я остаётся одна. Горит настольная лампа. По стенам бродят тени.

К а т я. Хоть бы Милочка пришла – как страшно одной. Сова тоже страшная. Особенно вечером. И фарфоровая собака только днём фарфоровая. А ночью это настоящее чудовище.

Стук в дверь.

К а т я. Милочка, заходи скорей!

Входит Х р и с а н ф ы ч. На нём пальто нараспашку, в руках набитый рюкзак. Вид у Х р и с а н ф ы ч а растрёпанный.

Х р и с а н ф ы ч. Здравствуй, Катерина.

К а т я. Ой! (*натягивает одеяло до подбородка*). Здравствуйте, Иван Хрисанфович. А вас все ищут.

Х р и с а н ф ы ч. Кому это я зандобился? А впрочем... Мать где, Катерина?

К а т я. Все на кухне. Радио слушают.

Х р и с а н ф ы ч. Нашли время радио слушать.

К а т я. А там товарищ Пронин выступает.

Х р и с а н ф ы ч. А-а! Другое дело. Ну, тем лучше. Пусть слушают... товарища Пронина.

Стук в дверь. Входит М и л о ч к а, одетая на выход – в пальто и шапочке.

М и л о ч к а. Катя... Ой! Иван Хрисанфович... Мы вас потеряли. Здравствуйте.

Х р и с а н ф ы ч. А я не иголка, чтобы меня терять. (*Обращается к Кате*). Ты вот что, Катерина. Некогда мне с вами лясы точить – меня ждут. Я за вещами заехал – уезжаю сейчас.

М и л о ч к а. На фронт?

Х р и с а н ф ы ч. Кхе-кхе... Почти. Я, Катерина, у твоей матери деньги брал в долг. Так вот, не хочу, чтобы Хрисанфыча недобрым словом поминали. Желаю вернуть долг (*кладёт деньги на стол*). Запомнишь? Ничего не перепутаешь?

К а т я. Чего не перепутаю?

Х р и с а н ф ы ч. Скажешь матери, что приходил Иван Хрисанфович, что,

мол, деньги принёс – долг. Она знает. Что кланяться, мол, велел, а сам уехал.

К а т я. А куда уехал?

Х р и с а н ф ы ч. Куда, куда... Не твоего ума дело! Твоё дело – передать: уехал, деньги принёс.

К а т я (*отворачивается*). А не моего, так и передавать не стану. Идите на кухню и сами передавайте.

Х р и с а н ф ы ч. Вот вредная девка!

М и л о ч к а. Она не вредная, Иван Хрисанфович. Она болеет. Хотите, я передам Марии Сергеевне? Сейчас вернусь и передам.

К а т я (*быстро поворачивается лицом, испуганно спрашивает*). Ты куда, Милочка? Ты тоже уезжаешь?

М и л о ч к а. Пока нет, Катя. Мама всё мечется: то едем, то не едем... Но в любом случае, если ехать в Иркутск, мне валенки нужны. А мои валенки у бабушки, здесь, на Вшивой горке. Пока все радио слушают, я сбегаю и вернусь обратно. Мало ли, что завтра будет, как оно повернётся...

Х р и с а н ф ы ч. Ну что ж. Так, пожалуй, надёжнее будет. Ты, Людмила, девка серьёзная. Ну, бывайте, товарищи девушки. Бог даст, свидимся, как говорится.

Уходит.

М и л о ч к а. И я пойду, Катя. Чтобы время не терять. Я быстро!

К а т я (*вдогонку*). Осторожнее, Милочка!

М и л о ч к а уходит. И почти сразу в комнате появляются М а р и я С е р г е е в н а, К л а в д и я и С е р а ф и м о в н а. М а р и я С е р г е е в н а и С е р а ф и м о в н а плачут. М а р и я С е р г е е в н а молча промакивает уголки глаз носовым платком. С е р а ф и м о в н а причитает, стонет, кричит, охает, вообще поминутно издаёт множество разных звуков.

К л а в д и я (*злорадно*). Ну, что я вам говорила? Опять молчок. А почему? Да потому что нет никакого товарища Пронина. Убёг товарищ Пронин из Москвы. Уже, может, в Казани чемоданы распаковывает. А может, и в Молотове по набережной прогуливается. А там, кто его знает, может, он в Америку едет.

М а р и я С е р г е е в н а. Да будет вам, Клавдия Леонидовна! Какая Америка, какой Молотов!

С е р а ф и м о в н а. Царица небесная, Господи Иисусе, бедные мы сироты, никто нас не пожалеет. Бросили нас на съедение зверю лютому, зверю голодному, зверю ненасытному. Что же будет с нами теперь, кто слёзы наши утрёт, кто...

М а р и я С е р г е е в н а (*перебивает*). Да прекратите вы причитать, Варвара Серафимовна! Ничего с нами не будет, и никто нас не бросил. Нам сказали, что выступление повторно переносится. А значит, мы будем ждать. Я не верю, что сдадут Москву. Если бы даже так было, нас уже известили бы об этом и мы бы сейчас ехали в эвакуацию, а не метались по квартире №13. Скоро мы будем слушать выступление товарища... Не знаю, кого именно, но кто-то перед нами обязательно выступит и скажет, что нам делать. А сейчас прекратите наконец эту панику и спокойно ждите. А вы, Клавдия Леонидовна, не вздумайте никуда ехать. Во всяком случае, не сегодня.

К л а в д и я. Куда уж мне ехать в такую темень. Да и Милочка к бабке убежала – валенки свои хочет забрать, вдруг всё же снимемся да покатаем в Иркутск. Валенки ей мужичок один подшил на зиму, побежала забрать.

К а т я. Мама, тут без вас Иван Хрисанфович приходил. Он тебе денег принёс.

Мария Сергеевна, Клавдия и Серафимовна говорят одновременно.

Мария Сергеевна. Как – Иван Хрисанфович?

Клавдия. Когда заходил?

Серафимовна. Батюшки-святые! Да где же он?

Катя. Пока вы радио слушали, он и пришёл. А где, говорит, все? Я говорю: они радио слушают. Он ещё посмеялся, сказал: нашли, мол, время. А потом сказал, что уезжает и деньги тебе на столе оставил. Сказал, что долг возвращает и не хочет, чтобы его недобрым словом поминали.

Клавдия. А каким его ещё словом-то помянуть?

Мария Сергеевна подходит к столу, берёт деньги.

Мария Сергеевна. Надо же. И впрямь вернул. Всю сумму. Даже не думала...

Клавдия. Ну, Хрисанфыч, ну прохвост! Вот попомните моё слово: ещё услышим мы про него.

Серафимовна. Что ты, Клавдия, сразу ругаешься? Может, призвали его, может, он на фронт едет. Москву защищать будет.

Клавдия (смеётся). Это Хрисанфыч-то? Проходимец этот? Барыга... Насмешила ты меня, Серафимовна. Дождёшься от него. Защитничек...

Серафимовна. Да нынче-то и не разберёшь ничего, всё перевернулось вверх тормашками.

Клавдия. А заметили, как Мара-то испугалась? Ещё пуще нашего.

Мария Сергеевна. Как же ей не пугаться? Если представить, что в Москве немцы, всем жутко делается. А уж евреям и подавно. Рассказывала Мара, что из Киева племянники ещё летом приехали – прямо у немцев из-под носа убежали. Так пока до Москвы добирались, наслушались, каково евреям при немецкой власти.

Серафимовна. Господи, почто отверг нас, почто оставил в недоумении... На кого покинула нас, Царица Небесная, Владычица. Ох, и куда нам только податься, несчастным сиротам. Кто защитит-то нас от супостата оканного...

Клавдия. Да перестань ты блажить, Серафимовна! Вот, ей-богу, от одной тебя только сбежишь!

Мария Сергеевна. Да, в самом деле, Варвара Серафимовна. Вы так причитаєте, что тоска берёт. И без того невесело.

Стук в дверь. Входит Мара. Она испугана, бледна. Кутается в платок, отчего выглядит ещё более напряжённой и сжавшейся.

Мара. Извините. Но по радио сказали: чрезвычайное сообщение. Думаю, нам всем лучше послушать.

Мария Сергеевна, Клавдия, Серафимовна – все устремляются к двери. Все наперебой говорят, так что непонятно, кто именно и что именно сказал: «Конечно!», «Быстрее, да быстрее же!..», «Марочка, спасибо!», «Ох, святые угодники, что же это делается...» Катя остаётся одна. За окном явственнее слышится грохот грузовиков. Катя в длинной рубашке, с перевязанным горлом вылезает из-под одеяла и на цыпочках подходит к окну. Но вскоре возвращается в постель под одеяло.

Катя. Как холодно! Что же это Милочка не идёт? А ведь сказала, что ненадолго. Вшивая горка – это совсем рядом. Куда же она запропастилась? Опять страшно. Но теперь как-то по-другому.

Слышны шаги, голоса, смех. Вся компания – Мария Сергеевна, Клавдия, Серафимовна – появляется в комнате.

Мария Сергеевна. Катя! Ты даже не представляешь! По радио сейчас выступал товарищ Жуков! Он сказал, что Москва сейчас объявляется на осадном положении.

Клавдия. А вы раньше о нём слышали?

Мария Сергеевна. Об осадном положении? Ну это когда...

Клавдия. Да нет же! О Жукове. Кто это?

Мария Сергеевна. А-а! Нет, признаться, не слыхивала. Но какое это имеет значение? Главное, чтобы...

Клавдия. Да пожалуй... Кто бы ни навёл порядок, а лишь бы навёл.

Катя. А что такое осадное положение?

Серафимовна. Ах ты, Господи! Прямо гора с плеч.

Клавдия. Одна гора у тебя свалилась, другая навалилась. Не понимаешь, что ли?

Мария Сергеевна. Катя, это же замечательно! Это значит, что нас не бросят, что Москву не сдадут. Мне просто петь хочется. Я запишусь в ополчение, буду рыть окопы, зажигалки тушить – всё, что потребуется. Только бы сопротивляться, только бы не сдавать город.

Мара. Согласитесь, Клавдия Леонидовна, пусть лучше все требования военного положения, чем сдача Москвы. А вы знаете, что полгорода заминировано? И если бы только немцы вошли, то на воздух взлетело бы всё – от метро до Большого театра. А теперь представьте, что однажды нам довелось бы вернуться. И что бы мы здесь нашли? Руины, развалины...

Мария Сергеевна. Это было бы ужасно. 1812 год показался бы нам доброй сказкой.

Клавдия. Не знаю, как вы, а я лично 812-й год не помню. Вон Серафимовна, наверное, помнит.

Серафимовна. Господи Иисусе... Что ты, Кланька...

Мария Сергеевна. Товарищи, я же говорю образно. Тот пожар оказался бы детской шалостью. Какое счастье, что ничего похожего не будет с нашим городом и с нами. Но я всегда это знала! Я верила!.. Сейчас главное – верить. Мы будем бороться – кто как может. Но мы отстоим, не пустим... И дождёмся.

Мара. В таких случаях нужны две вещи: чтобы было кому организовывать и кого организовывать.

Мария Сергеевна. Правильно, Мара Александровна! Правильно. И всё это у нас есть... Что с вами, Клавдия Леонидовна?

Клавдия (садится на стул). Да что-то вдруг сердце кольнуло... И Милочка не идёт...

Мария Сергеевна. Вы говорили, она пошла к вашей матушке? Это ведь здесь недалеко – кажется, на Володарского?

Клавдия. Да, совсем рядом.

Мария Сергеевна. Может быть, она там заночевала?

Клавдия. Да, может быть. Но отчего-то вдруг беспокойно.

Раздаётся звонок в дверь квартиры. Все умолкают и тревожно переглядываются. Мария Сергеевна идёт открывать дверь и вскоре возвращается с милиционером. Пока её не было в комнате, все в молчании смотрели на дверь. При виде милиционера Катя забирается с головой под одеяло, Серафимовна крестится, Клавдия зажимает ладонью рот, а Мара стягивает на плечах платок, словно ей вдруг стало холодно.

М а р и я С е р г е е в н а (*растерянно*). Вот... По поводу Хрисанфыча.

М и л и ц и о н е р. Иван Хрисанфович Ракицкий проживает в квартире тринадцать?

М а р а. Вы же знаете, товарищ старший лейтенант. Да, это наш сосед. Мы все здесь соседи.

М и л и ц и о н е р. Тут такое дело...

М а р и я С е р г е е в н а. Простите, товарищ старший лейтенант. Он несколько дней не появлялся. Но сегодня заходил и сказал, что уезжает. Никто, правда, его не видел, кроме моей девятилетней дочери.

К а т я (*высовывается из-под одеяла*). Ещё Милочка видела. Она как раз ко мне заходила.

М и л и ц и о н е р. Значится так. Два дня назад гражданин Ракицкий выехал из Москвы на служебном автомобиле, взятом по месту работы. Выехал не один, а вместе с директором института, где служил и сам Ракицкий. Директор предложил ему ехать в Ярославль к своим родственникам. В составе шести человек – директор, жена директора, трое их малолетних детей и Ракицкий – они выехали из Москвы по Ярославской дороге. Однако на выезде из города их задержали. Семью директора вернули домой, автомобиль конфисковали, а директора с Ракицким арестовали.

С е р а ф и м о в н а. Ах ты, батюшки...

М и л и ц и о н е р. Директора суд признал виновным, Ракицкого отпустили, поскольку действовал он не по своей воле, а по приказу.

К л а в д и я. И куда же он опять намылился?

М и л и ц и о н е р. Сегодня утром гражданин Ракицкий явился по месту работы и подбивал рабочих разграбить кассу, а также имущество института на том основании, что руководство и правительство в бегах, а в город вот-вот войдут немцы. Кричал он, что немецкие танки уже на Кузнецком мосту и что во всех бедах виноваты евреи и коммунисты. Когда же рабочие отказались грабить кассу и попытались задержать Ракицкого, он скрылся. Но два часа назад теперь уже у Заставы Ильича гражданин Ракицкий вновь проявился. Он и ещё несколько человек напали на личную автомашину гражданина Кузнецова, направлявшегося с семьёй в сторону Балашихи.

К л а в д и я. Вот он, защитничек Москвы. Что я вам говорила?

М а р и я С е р г е е в н а. Что же дальше?

М и л и ц и о н е р. А дальше подоспел патруль. Преступники оказались вооружены, завязалась перестрелка... Ну, если коротко, гражданин Ракицкий в перестрелке убит.

Молчание. Все застыли.

М а р и я С е р г е е в н а. Зачем же он мне деньги-то вернул? Вот чудак...

М и л и ц и о н е р. Вот так вот, товарищи женщины. Время тяжёлое настало. А Ракицкому-то, может, и повезло. Потому как по законам военного времени высшую, как говорится, меру социальной защиты вполне могли бы применить на месте за все его подвиги. Родственники гражданина Ракицкого не обнаружены. Стало быть, сообщать некому. Но по месту жительства я всё же сообщил.

С е р а ф и м о в н а (*нараспев*). Господи Иисусе, до чего дошло!..

М а р а. То ли ещё будет.

М и л и ц и о н е р. Ну, отдыхайте, товарищи женщины. Не поддавайтесь панике. Порядок в городе будет восстановлен. А победа всё равно будет за нами.

Уходит.

К л а в д и я. Пойду-ка я, пожалуй, на Володарского. У бабки заночую.

М а р и я С е р г е е в н а. Даже не думайте, Клавдия Леонидовна. Завтра утром пойдёте. Вы же видите, что творится.

К л а в д и я. Так потому и надо идти!

М а р а. В самом деле, Клавдия Леонидовна, не нужно вам сейчас ходить. Всё равно не видно ни зги. Подождите меня, я сейчас.

М а р а убегает.

К л а в д и я. И зачем я, дура, её отпустила? К чёрту все валенки мира!

С е р а ф и м о в н а. Что ты, с ума сошла? Чертыхается на ночь глядя...

К л а в д и я (*не обращая внимания на Серафимовну*). Ну, подлинно – голлову потеряла. А теперь что делать – ума не приложу. Всё перевернулось, зацепиться не за что. И Хрисанфыч этот, вот крапивное семя. Жил барыгой, а кончил и того хуже – мародёром.

Входит М а р а, нагруженная какими-то консервными банками.

М а р а. Не волнуйтесь, Клава. Она у бабушки осталась. Вот, взгляните.

Выкладывает банки на стол.

М а р а. Наша библиотека работает как обычно, мы не закрывались ни на день. Всё равно никто сейчас к нам не идёт. Последнее время я сижу, целыми днями смотрю в окно и думаю, что от мужа писем нет уже месяц. Делать совершенно нечего. Когда работаешь, всё-таки отвлекаешься от худых мыслей. Когда делать нечего, становишься рабом дурных мыслей. А напротив у нас магазин. И вот сегодня смотрю я в окно и вижу, как из складских дверей выходят люди с пакетами. Я пошла узнать, в чём дело. Может, это грабят магазин, а может, что-то ещё, о чём я даже не могу подумать. И оказалось – второе. Оказалось, бесплатно раздают продукты. Можете себе представить? Конечно, кому-то покажется это хорошо. Но мне стало страшно. Всюду на улицах болтают, что Сталин уехал, что правительство эвакуировалось, что немцы уже входят в город... И вдруг раздают продукты. Значит – всё, конец? Больше покупать некому? И мне тоже дали продуктов, впрочем, если бы город сдали, продукты меня не спасли бы. Много я не могла унести, но по паре банок тушёнки я захватила на всех.

М а р и я С е р г е е в н а. Спасибо вам, Марочка Александровна.

К л а в д и я. Да уж, Мара, век тебя не забудем.

С е р а ф и м о в н а. Батюшки-святые! Сокровища-то какие... Ох, дай Бог здоровья!

К л а в д и я и С е р а ф и м о в н а берут со стола по две банки. В это время опять раздаётся звонок в дверь квартиры. Все вздрагивают и переглядываются. А К л а в д и я почему-то роняет свои банки на стол. Потом в такой очерёдности: сначала К л а в д и я, за ней М а р и я С е р г е е в н а, М а р а, С е р а ф и м о в н а выходят из комнаты. К а т я садится на кровати, поджав ноги и укутавшись в одеяло, в нетерпении смотрит на дверь. Слышны голоса, шум, крики.

Г о л о с К л а в д и и. Как же это?

М у ж с к о й г о л о с. Раздавили девчонку.

Г о л о с М а р ы. Что вы говорите? Как «раздавили»? Она же не таракан.

Г о л о с К л а в д и и. Убили! Ребёнка убили!

Ж е н с к и й г о л о с. Да сейчас на улицах тьма какая. Разве увидишь чего?

А она дорогу перебежала. Там же грузовики носятся – для фронта везут. Не видел водитель, так и сшиб. Да никто бы и не увидел, лежать бы ей до утра на мостовой, кабы не вскрикнула. А в руках-то валенки держала, бедолага. Вот они, валенки-то. Подшиты хорошо – сносу не будет...

Мужской голос. Патруль подобрал. А дворничиха тамошняя признала. Туда, сюда, за врачом – поздно. Померла девчонка. В другое б время её в морг али ещё куда. Да в этой-то неразберихе...

Опять слышны шум и крики.

Голос Серафимовны. Кланя! Что это с ней?

Голос Марии Сергеевны. Обморок у неё. Отнесите пока девочку в нашу комнату – это ближе всего. А Клавдию отнесём в её комнату – там ей будет удобнее.

Голос Серафимовны. Да что ж это делается-то?!

Мужской голос. А война это, бабка, делается. Когда люди вдруг ближнему в глотку впиваются. Тут уж всякое бывает. А больше ничего другого и не делается.

Шаги. Входит Мария Сергеевна.

Мария Сергеевна. Катя, только не пугайся, пожалуйста. Ты уже большая и должна всё понимать. С Милочкой случилось несчастье и...

В комнату входит неизвестный мужчина. На руках он держит Милочку. Голова её запрокинут, одна рука торчит как палка. Катя визжит и прячется с головой под одеяло. Гаснет свет. В темноте ещё слышен крик Кати.

Конец второго действия.

Действие третье СКАЗКА ВТОРАЯ

Та же комната, та же обстановка. За окном то же серое небо и те же голые ветви. Только кровать застелена белым покрывалом, а сверху у изголовья горкой лежат три подушки одна другой меньше. И звуки за окном совсем другие. Слышны автомобильные гудки. Откуда-то издалека доносятся обрывки Рио-Риты. Как будто ветер приносит звуки патефона или граммофона.

Катя сидит за столом, перед ней книга, тетрадь, чернильница. Катя стала старше, изменилась. Теперь у неё две длинные косы. Она сидит на стуле, подложив под себя правую ногу и что-то старательно пишет. Раздаётся звонок.

Катя (*поднимает голову от тетради*). Три года прошло, а я каждый раз от звонка вздрагиваю – не могу Милочку забыть.

За сценой голоса. В дверь стучат, и тут же в проёме появляется голова Серафимовны.

Серафимовна. Катерина, соседка заходила, почту нашу занесла. Возьми газеты!

Катя подходит, забирает газеты.

Серафимовна. Ох, и жду я почту каждый день! Письмо – радость, понятно. Так ведь и газетам радуюсь! Работает почта, значит всё на месте. Значит, миновала опасность-то. Во, брат, как!

Серафимовна уходит. Катя листает газеты, возвращается к столу. Вдруг из газет выпадает треугольник и падает на пол. Катя проворно его поднимает и рассматривает.

Катя. От папы! Нет, не от папы. От кого же? (*Читает*). Полевая почта №22617, Пупырёву Виктору Викторовичу... Кто это?.. Серебряническая набережная, Варенцовой Марии Сергеевны. Письмо маме... А номер почты как у папы. Никогда ни от кого не слышала о Викторе Викторовиче Пупырёве. Кто это может быть?

Кладёт газеты и письмо на стол и снова усаживается за тетрадь. Начинает писать. Но вскоре опять берёт в руки письмо и долго рассматривает его.

Но ведь когда приходят письма от папы, я их читаю. Даже если на мамино имя. Мне можно.

Опять откладывает письмо в сторону, берёт ручку, обмакивает перо в чернила, но задумывается. С пера капает в тетрадь клякса.

Ой, мамочки! Что я наделала!.. Какая клякса! Теперь всё переписывать набело. И всё-таки это папина почта, значит, письмо всё равно как от папы. А значит я имею право прочитать. Я прочитаю и скажу маме, что прочитала. И ничего такого тут нет. Я могу знать всё, что касается папы. А раз это папина почта, то и письмо наверняка связано с папой.

Раскрывает треугольник и начинает читать.

(*Бубнит под нос*). Хм-хм-хм... я служил вместе с гвардии старшим лейтенантом Варенцовым, мы были друзья... мы дали друг другу слово в случае чего рассказать всё родным... на войне многие так делают... поверьте, мне нелегко писать... гвардии старший лейтенант Варенцов – настоящий герой... ещё в Сталинграде, когда город очищали от врага, он заметил вражеский дот, из которого противник вёл сильный огонь... Вместе с двумя товарищами он смелым броском ворвался в дот и захватил трёх обер-ефрейторов, чем обеспечил продвижение наших войск и ускорил уничтожение оставшихся в городе фашистов... так, хм-хм-хм... уже летом 44-го во время нашей атаки, будучи тяжело ранен и оставшись в расположении противника, не сдался в плен, отстреливаясь из автомата до прихода наших подразделений... хм-хм-хм... Горько писать об этом, но до госпиталя он не дожил... Не дожил!.. от полученных ран гвардии старший лейтенант Варенцов скончался... Нет, нет, нет! Не может быть. Этот Пупырёв просто всё перепутал. Это какой-то глупый человек, он всё перепутал. (*Читает*). От полученных ран гвардии старший лейтенант Варенцов скончался...

Складывает письмо и кладёт его обратно на газету. Потом, подумав, хватает его.

Папочка, папа... Мне и раньше тебя не хватало, тебя всегда было мало, а теперь не будет совсем. А я ждала, что война закончится, ты приедешь, физику мне объяснишь... Я ведь три года представляла, как мы гуляем с тобой по Москве, и ты держишь меня за руку. Милочка обещала, что война закончится, что чары спадут, сказка эта исчезнет и липы зацветут. И что всё тогда вернётся. С фронта все вернуться, и Москва вернётся красивая. Говорила, будет как прежде всё, даже лучше. А теперь... Ни Милочки, ни тебя, папочка... Только липы остались и наш тополь, что мы посадили с тобой.

Утирает лицо.

А что я маме скажу? Разве я могу ей сказать: «На, почитай, как гвардии старший лейтенант Варенцов скончался от полученных ран»? Разве я могу ей сказать, что ты, папочка, не вернёшься уже никогда?.. Какое это страшное слово!.. Не могу я этого сказать. И не скажу. А вдруг Пупырёв всё напутал? Я передам маме, а ты вернёшься. Вернёшься и скажешь, что не знаешь никакого Пупырёва. А может, и нет на свете никакого Пупырёва и не было никогда? Нет, нельзя этого говорить. И письма этого показывать нельзя. Ведь похоронка не приходила, а значит жив папа, значит вернётся. И мы будем ждать его.

Убирает письмо в карман.

Хорошо, что никто, кажется, не видел этого письма. А если и видели, я ничего ни о каком письме не знаю. Не видела – и точка! Не было такого письма! Вам, граждане, почудилось. Померещилось вам. Надо подумать, что с ним сделать – сохранить, спрятать где-нибудь или лучше сразу уничтожить.

Снова раздаётся звонок, снова шум и голоса, стук в дверь. И снова в проёме появляется голова С е р а ф и м о в н ы.

С е р а ф и м о в н а. Катерина, к вам тут приехали. Принимай гостей. А что это ты вроде плачешь? Глаза на мокром месте.

К а т я. Это я... это я кляксу посадила в тетрадку, Варвара Серафимовна. Испортила домашнюю работу.

С е р а ф и м о в н а. Эка печаль! Нашла из-за чего слёзы-то проливать. Ну, гости развлекут!

С е р а ф и м о в н а исчезает, а вместо неё появляется женщина с чемоданом и двое худых, кое-как одетых детей с узлами – девочка возраста К а т и и мальчик помладше.

Е л е н а С е р г е е в н а. Здравствуй, Катюша! Не помнишь нас?

К а т я. Здравствуйте. А мамы нет. Она сегодня дежурит. Но скоро придёт.

Е л е н а С е р г е е в н а. Ах, Катя! Это же я, тётя Лена – мамина сестра. А это Буся и Маруся. Неужели не помнишь?

К а т я. Ой! Извините, я не узнала.

Подходит к вошедшим. Е л е н а С е р г е е в н а целует её.

К а т я. Вы же выковырянные? Ой, я не то хотела...

Е л е н а С е р г е е в н а (смеётся). Не извиняйся! Так и есть – выковырянные. Сами себя выковыряли. Нас и в эвакуации так называли. Сначала даже обидно было, а потом привыкли. Мы, видишь ли, прямо с поезда. К себе побо- ялись сразу идти – кто его знает, что там с нашим домом, с нашей квартирой. Вот я и решила: сначала к вам, оставлю вещи и Бусю с Марусей. А сама – домой, на разведку. Всё у нас теперь по-военному: эвакуация, разведка, лишь бы до боёв тут не дошло. Ну, ладно. Если всё на месте, если квартира не занята, мы сразу к себе переберёмся.

К а т я. Может быть, вы чаю хотите?

Е л е н а С е р г е е в н а. Спасибо, Катюша! А знаешь, что? Вот Буся и Маруся выпьют с тобой чаю. А я прежде домой схожу и всё узнаю. Ты помнишь, где мы жили?

К а т я. Вы на Чистых прудах жили. Там теперь баба Вера сторожит.

Е л е н а С е р г е е в н а. Верно! Вот и проведу бабу Веру. Это же совсем недалеко. Ну, Маруся, я быстро. Буся, попейте чаю с Катей, а я скоро вернусь.

Уходит. Дети молча исподлобья смотрят друг на друга.

К а т я. Вы бы разделись. Пальто можно в прихожей оставить. А хотите – кладите на стул.

Б у с я и М а р у с я молча снимают пальто и кладут их на стул.

К а т я. Садитесь на диван.

Б у с я и М а р у с я молча и синхронно садятся.

К а т я (обращаясь к Бусе). Что это у тебя с глазом?

М а р у с я. Это бельмо у него.

К а т я. Почему?

М а р у с я. Слабый. Ест мало, болеет всё время.

К а т я. Мы тоже мало едим. Ну, сейчас ещё ничего, а поначалу – одна се- лёдка была, паштет из дрожжей и каша на рыбьем жиру. На вазелине хлеб жарили... бррр... Сейчас вспоминаю – гадость! А тогда всё бы, кажется, съели.

М а р у с я. А у нас картошка была. Мало, правда.

К а т я. Что вы там вообще делали?

М а р у с я (пожимает плечами). В школу ходили, мама работала. Помогали хозяйке – тётке Наташе. Жили!

К а т я. А немцев показывали вам?

М а р у с я. Как это?

К а т я. У нас летом – в июле – привезли немцев. Много немцев. Девчонки некоторые боялись, но Мунька – это мой друг – сказал, что они пленные и совсем неопасные. Их нарочно в Москву привезли, чтобы показывать. Гово- рили, что их поведут по улицам, а все будут смотреть. Если честно, мне очень хотелось на них взглянуть. Мы с мамой пошли на Земляной вал. Ну, сначала ничего не было видно. А потом мне вдруг показалось, что будто бы змея ползёт – серая такая, толстая... Ну а потом уж я разглядела людей. Такие усталые, небритые, ни на кого не смотрят – стыдно. И все молчали – и они молчали, и мы, те, кто смотрел. А когда они прошли, за ними ехали поливаль- ные машины – такие красивые, серебряные машины и мыли дорогу. Сначала все так поняли, что это символически моют. Мама сказала: скверну с нашей земли смывают. А потом стали всякое говорить. Ты знаешь (понижает голос), говорили, что они все обделались дорогой, потому что перекормили их. Ну, идти же надо, они не выдержат – чтобы сил хватило. Ну, и обожрались. А с непривычки, знаешь, что бывает? Когда долго не ешь, а потом объеешься. Вот они и того... А печка у вас была?

М а р у с я. Печка? Конечно, была. Без печки на Урале не выжить зимой. Мы там жили не в квартире. В своих домах у всех печки. Народу там, правда, набилось... С Украины ещё целую семью к нам определили. Ничего, выжили.

К а т я. И у нас ничего было – жить можно. Отопление сохранили, но в дру- гих домах чуть замешкались – мороз ударил, и батареи полопались. Мунь- кина бабушка всю зиму прожила без печки, но уходить из своей комнаты не хотела. Она надела на себя всю свою одежду – ну, всё, что налезло. Стены у ней покрылись инеем, как во дворце Снежной Королевы или как в пещере какой-нибудь волшебницы. Мы ходили к ней в гости – навещали, и она пока- зывала, что стало с отоплением. Хотела угостить нас дрожжами.

Маруся. Почему же она не ушла, если было куда идти?

Катя. Конечно, было! Мунькина мама звала её к ним на квартиру. Но она сказала, что жизни ей остался тоненький краешек. И что никуда она из дома не уйдёт и эвакуироваться не станет ни на Урал, ни на улицу Горького. Не хочу, сказала, чтобы меня выковыривали.

Маруся. Кто же хотел? Никто не хотел. Только с немцами ещё хуже.

Катя. Мама говорит: поторопились вы. Мы вот не уезжали, хоть и боялись три года назад... *(Поворачивается к входной двери)*. Слышишь? Это мама, наверное.

Входит Мария Сергеевна.

Мария Сергеевна. Катя, ты знаешь какой день сегодня? Сегодня освободили Белград. А это значит, что в календаре появился новый праздник. Я почему-то уверена, что спустя годы освобождение каждого города будет отмечаться как большой праздник. Хотя бы в тех странах, где расположены эти города. Я верю, что люди никогда не забудут... *(Заметив Бусю и Марусю)*. Здравствуйте, дети. Катя, у тебя гости?

Катя. Мама, тётя Лена вернулась. Это Буся с Марусей.

Маруся. Здравствуйте, тётя Маша.

Мария Сергеевна целует племянников.

Мария Сергеевна. Господи, ну наконец-то! Вы вернулись... Три года. Три года! Вот, Катерина, всё начинает возвращаться. Скоро конец этому кошмару. А где же Лена? И почему ты гостей не накормишь?

Катя. Тётя Лена скоро, наверное, придёт. Она пошла домой – квартиру проверить.

Мария Сергеевна. На месте ваша квартира – я же регулярно навещаю. И баба Вера как грозный страж там сидит. Хотя, конечно, постановление «Об освобождении жилой площади» кое-кому жизнь осложнило.

Раздаётся звонок.

Катя. Это, наверное, тётя Лена! Я открою.

Катя уходит и вскоре возвращается вместе с Еленой Сергеевной. Сёстры бросаются в объятия друг другу, плачут. Наконец усаживаются: Елена Сергеевна на диван к Бусе и Марусе, а Мария Сергеевна – на стул, где только что сидела Катя. Сама Катя тем временем убирает со стола тетради и книги.

Мария Сергеевна. Ну, как вы? Как вы жили всё это время? Ты мне писала, но лучше расскажи сама. Вот так сиди, смотри на меня и рассказывай. Как раньше, как сто лет назад ты рассказывала мне обо всём, что было у тебя за день.

Елена Сергеевна. Обязательно расскажу! Только не всё сразу. Господи, сколько же мне надо рассказать тебе, ты даже не представляешь!

Мария Сергеевна *(смеётся)*. Ну вот! Теперь я узнаю тебя, ты насколько не изменилась. И мне нужно столько рассказать тебе! Сколько случилось всего за эти три года, сколько я видела – как будто целая жизнь прошла. Бывает, человек живёт и столько не увидит и не узнает, сколько тут за три года.

Елена Сергеевна. Да, война – жестокий учитель.

Мария Сергеевна. Ну что ваша квартира?

Елена Сергеевна. Дождалась. Сейчас мы пойдём к себе, а завтра наговоримся.

Мария Сергеевна. Хорошо, но без чаю не отпущу вас. Пока я собираю чай, расскажи мне, как вы там жили, что делали – ну, словом, говори!

Елена Сергеевна. Из Сталинграда мы еле ноги унесли. Кое-как приехали в Златоуст к Наташе. И это счастье, что есть у нас Наташа. Иначе, сложно представить, как бы мы жили. Ты же знаешь, туда заводами эвакуировали. Заводские ещё более или менее устроены, а такие как мы – беда! Кто в землянках, кто в бараках... Знаешь, такие бараки – дома-крыши. Заходишь внутрь, а там одни кровати – перегородок даже нет. Не знаю, где и как, а в Златоусте бараки зимой строились. Понятно, в спешке. И так-то не Версаль, а тут ещё грязь, клопы, уборные месяцами не чистят, мусор вокруг... Местные злятся, и понять их нетрудно. Кто-то и дружно живёт, и помогают друг дружке. И хлебушком ссуживали, и рублём. В общем, как везде – по-разному. Наташа вот кроме нас ещё семью с Украины приняла: бабушка, мать, дочка и внучка. Четыре женских поколения. Ничего, уживались. А соседка Наташина, так та наоборот – выжила жилищку с детьми. То вещи выбросит, то воды не даёт. В итоге жилищке дали комнату в общежитии. А она ленинградка с двумя детьми. И все трое на заводе с утра до вечера. Уж её увещевали – соседку Наташину. Куда там!

Мария Сергеевна между тем достаёт из буфета чашки, тарелки и ставит на стол.

Елена Сергеевна. Господи, Машка! Чай, конфеты, сардины – роскошь какая! Да вы буржуи просто. Вас раскулачивать пора. Может, у вас и икра чёрная припасена?

Мария Сергеевна *(смеётся)*. Вот уж чего нет, того нет. Знаешь, Леночка, тут ведь всякое было. Сорок первый год и вспоминать стыдно – как все перетрусили. Паника, мародёрство, подлость... Говорить даже не хочу. А что мы ели? Рыбий жир, хлеб на вазелине, дрожжи... Потом – уже зимой – картошка мороженая. От одной мысли тошнит. Конечно, и сейчас всё скромно, но всё-таки легче. А раз уж праздник, так давайте кутить! Садитесь за стол! Принесу кипятку.

Мария Сергеевна уходит. Елена Сергеевна, Катя и Маруся подходят к столу. Буся спит на диване.

Елена Сергеевна. Не обращайтесь внимания! Он слабый у нас, пусть спит лучше. Надеюсь, отъестся и отоспится дома.

Катя. И бельмо от этого?

Елена Сергеевна. Говорят, пройдёт со временем. Главное, что мы дома наконец. Даже не представляешь, Катерина, какое это счастье!

Все усаживаются за стол. Мария Сергеевна входит с чайником и начинает разливать чай.

Елена Сергеевна. А когда в сорок втором вышло это постановление – ну, об освобождении жилой площади эвакуированных на восток – ох, что началось! Кто-то отправил семью обратно, а квартиры нет! Живут чужие люди. На заводах даже стали возмущаться и говорить, что их обманули. Грозить стали, что уедут. И ведь поехали! Конечно, уехавших задержали. Но ты знаешь, какая-то обида и тревога остались.

М а р и я С е р г е е в н а. Конечно, Леночка, по-человечески это понятно, но ведь война...

Е л е н а С е р г е е в н а. Ну, расскажи ты теперь! Как вы тут живёте, что в Москве происходит.

М а р и я С е р г е е в н а. Про сорок первый уже сказала, а больше и говорить не хочу. Город заминировали, поползли слухи, что немцам сдают... Паника, все бегут, что делать – непонятно, все растерялись... А в этом году как будто всё иначе. Даже год начался необычно – с нового гимна. Театры открылись, в кино мы ходим. В метро станции новые. Вертинский вернулся. Даже рестораны в Москве открылись, если деньги есть – пожалуйста, гуляй! (*Смеется.*) Ну, право, Леночка! Что же сказать?! Надо жить. И будем жить. Ещё бы карточки отменили. И что это с нами было?... Ведь и правда – сказка страшная. Это Катя так говорит.

Е л е н а С е р г е е в н а. Да уж, сказка... Но любая сказка заканчивается. Даже самая страшная. Только до конца, увы, доживают не все герои, хоть добро обязательно побеждает зло.

М а р и я С е р г е е в н а. Хорошо бы нам не знать таких сказок.

Е л е н а С е р г е е в н а. А война никого и не спрашивает, навязывая знакомство... А Ваня? Ваня вам пишет?

К а т я не поднимает глаз от чашки. М а р и я С е р г е е в н а тоже опускает глаза.

М а р и я С е р г е е в н а (*неуверенно*). Да, Леночка. Ваня пишет. А мы его ждём. Правда, Катя?

К а т я. Конечно. Папа скоро вернётся.

Е л е н а С е р г е е в н а. Ну и отлично! Мы пойдём домой, Машенька. Спасибо за роскошный ужин.

М а р и я С е р г е е в н а. Леночка, мы вас проводим.

Е л е н а С е р г е е в н а. Нет, что ты, не надо. Завтра мы снова встретимся и будем говорить. Обо всём и подробно. А сейчас мы пойдём. Можно, я Бусю у вас до завтра оставлю? Чтобы не будить его.

М а р и я С е р г е е в н а. Ну, конечно! Пусть спит.

Е л е н а С е р г е е в н а. Спасибо, Машенька. А мы с Марусей пойдём.

К а т я. А можно я провожу вас только до Яузского бульвара?

Е л е н а С е р г е е в н а. До бульвара можно, если мама отпустит.

М а р и я С е р г е е в н а. Только до бульвара.

М а р у с я надевает пальто, лежавшее на стуле. К а т я выходит из комнаты в прихожую.

М а р и я С е р г е е в н а. Маруся, если оделась, выходи. Вспотеешь, потом простудишься.

Е л е н а С е р г е е в н а. Правильно тётя Маша говорит. Иди, Маруся. Я вас догоню.

М а р у с я уходит.

Е л е н а С е р г е е в н а. Ты что-то хотела сказать мне, Машенька?

М а р и я С е р г е е в н а (*говорит быстро, волнуясь*). Да. Да! Понимаешь, мне надо... я должна тебе сказать... Ещё летом пришла похоронка на Ивана. Я была дома, а Катя гуляла. Но когда она вернулась, я не смогла это выговорить. Понимаешь? Я не могу ей сказать: твоего отца больше нет. Этих слов я сказать не-мо-гу! Я говорю это только тебе. Мне надо кому-то сообщить об

этом, но кому – я не знаю, потому что боюсь, что дойдёт до Кати. А я этого не хочу. Пусть она верит, что отец вернётся. А потом она вырастет и сама всё поймёт. Но только пусть сама, пусть поймёт, а не услышит от меня и тем более от кого-то ещё. Ты понимаешь?

Е л е н а С е р г е е в н а (*грустно*). Значит, Иван погиб?

М а р и я С е р г е е в н а. Да, Лена. Но прошу: Катя не должна знать.

Е л е н а С е р г е е в н а. Она не узнает, Машенька. Это странное решение, но ты по-своему права. Я понимаю тебя. Ты ничего мне не говорила.

Сёстры целуются, и Е л е н а С е р г е е в н а уходит. М а р и я С е р г е е в н а уносит чайник на кухню, убирает со стола в буфет тарелки и конфеты. Тем временем возвращается К а т я.

М а р и я С е р г е е в н а. Ну что, проводила?

К а т я. Завтра договорились встретиться. Вот жаль: зима наступает, а коньки и санки так и не разрешили.

М а р и я С е р г е е в н а. Разрешат в конце концов.

К а т я. А хорошо бы Марусю в наш класс зачислили. Мы бы вместе уроки делали.

М а р и я С е р г е е в н а. Вы и так сможете вместе уроки делать. А учиться в вашей школе Марусе, наверное, неудобно – далеко от дома... А там – кто знает. Может, и так выйдет. В любом случае, будем жить дальше.

К а т я (*задумчиво*). Да. Будем жить дальше.

К о н е ц





ПОЭЗИЯ



Инна МУХИНА

Инна Юрьевна Мухина – родилась в Москве. По профессии металлург и металлург, кандидат технических наук, изобретатель, ведущий специалист в области авиационного материаловедения. В течение многих лет стихотворения И. Мухиной постоянно появляются на страницах периодической печати, в сборниках и альманахах. Автор трёх поэтических книг: «Снежное вдохновение», «Энергия речи», «На островах времени». Победитель ряда литературных конкурсов. За творческие достижения в современной поэзии награждена Золотой Есенинской медалью, дипломами имени А. Блока, М. Цветаевой, Н. Гумилёва, Ф. Тютчева, орденами В. Маяковского и А. Грибоедова. Член Союза писателей России.

Живёт в Москве.



Секрет непреходящих истин

Метель метёт. Кончается,
Уходит старый год.
Пусть все несправедливости
С собой он унесёт.
И пусть для нас откроется
Надежды новой свет
От Рождества до Троицы
Спасением от бед.

Рождество в церкви

Огнём свечей очистится душа,
На сердце посветлеет понемногу.
Вслед за молитвой, тихо, не спеша
Найдёт оно свою тропинку к Богу.

В Переделкино

Звезда цвела на зимнем, синем небе,
И падал март на землю светлым снегом.
И ель густая тишину роняла,
Как будто тайну чью-то охраняла.

А может быть, привиделось всё это.
Зима нас целовала до рассвета.
А утром зиму солнце растопило,
И только душу всё ещё знобило.

Стихи, как бодрости заряд,
С их многогранным настроением.
Летят листки календаря,
Сменился летний день осенним.
Как подметает ветер двор
Своей метлою чисто-чисто,
Так мне бы вымести весь сор,
Неужный сор из нужных мыслей,
Чтоб ничего не потерять
В потоке этих бурных листьев
И с капель дождевых собрать
Секрет непреходящих истин.

Девочки

Оккупируют Москву
Девочки приезжие.
Притворяются они
Слишком уж прилежными.
Кто магната подхватил,
Кто поймал начальника...
Тянут, тянут что есть сил,
Скрытно, но отчаянно.
После в клетке золотой,
Даже если медная!
В жизни этой непростой
С тем, кто взял их «на постой»
Мучаются бедные.
«Западают» на Москву
Девочки приезжие...

Долги отдадим. Да простит нас Всевышний,
За то, что других мы духовно не слышим!
Закрытые жизни. Запретная тема.
Но каждый надеется на перемены.



Символ года

Последние несколько лет наш народ настолько увлёкся астрологией, что большинство российских граждан начинают подготовку к празднованию Нового года с изучения гороскопов, чтобы узнать, в какой одежде надо встречать Новый год и что необходимо поставить на праздничный стол. Хотя и существует разница во времени между Европейским Новым годом и Новым годом по восточному календарю, нам всё равно. Мы оправдываем себя тем, что живём в Евразии, поэтому эклектика стала неотъемлемой частью нашей жизни. А уж как это на руку предпринимателям малого и среднего бизнеса, даже и описать нельзя. Уже в ноябре все прилавки магазинов завалены сувенирами с изображением символа года – овцы или обезьяны, петуха или собаки. На этот раз в преддверии Нового года мы все радостно дарили друг другу чашки и полотенца, пепельницы и свечи, календари и другие утилитарные подарки с изображением кабана – символа наступающего года и в душе мечтали, чтобы он обернулся для каждого из нас розовым весёлым поросёнком.

Перед Новым годом Рина как ненормальная носилась по магазинам, скупая сувениры, ведь нужно было, чтобы каждый клиент их фирмы почувствовал к себе внимание. Однажды вечером, когда предновогодняя суета уже улеглась и все подарки были разосланы, она пришла домой с работы, выгуляла собаку, поужинала и с сигареткой устроилась перед телевизором. Диктор на российском канале что-то вещала про традиции Нового года. И вдруг ей вспомнился эпизод многолетней давности, когда она нос к носу столкнулась с живым символом наступающего года. А было это так.

Стоял тёплый октябрьский день. В научно-исследовательском институте, где работала тогда Рина, всё шло своим чередом: кто-то работал в поте лица, кто-то разгадывал кроссворд, кто-то трепался по телефону. А Рина стояла в курилке и думала про свою непростую жизнь: вернувшись из школы, её дочь-первоклассница сидит дома



Юлия Геннадиевна Александрова – преподаватель английского языка, доцент Всероссийской Академии Внешней Торговли. Поэт, прозаик, член МГО СПР с 2009 г. Печатается в газете «Московский литератор», журналах «Великоросъ» и «Свет столицы», альманахах «Академия поэзии», «У Никитских ворот». Автор семи сборников лирических стихотворений и четырёх сборников городских рассказов. Награждена дипломами за верность служения отечественной литературе с вручением ордена «В.В. Маяковский» и медалей «М.Ю. Лермонтов» и «И.А. Бунин».

Живёт в Москве.



одна, некормленная, двухлетний сынишка в яслях на пятidineвке, а муж... А что муж? Военный. Работает, как все. Зарплату получает, как все. И пьёт – тоже как все. И тут в курилку ворвалась её подруга Люба. «Ринка! Бросай свой окурочок. Пошли на кабана смотреть!» Рина посмотрела на Любу изучающе, как врач смотрит на пациента, и сказала: «Любка! Ты в своём уме? Какой кабан на территории МГУ?» Но Любка затараторила: «Ринка! Побежали! Там уже пол-института на него глазуют». И обе помчались вниз.

Продравшись сквозь толпу зевак, они действительно увидели кабана. Он медленно бродил вдоль решётки, ища выход. «Надо бы в цирк позвонить! – подумала Рина. – Может, от них сбежал?!» Однако её мысли прервали мальчишки, появившиеся у забора со стороны улицы. Увидев кабана, они начали дразнить его и кидать в него разные предметы: кто – камушек, кто – палку, соревнуясь, кто попадёт в движущуюся мишень сквозь решётку. И вдруг кто-то из них попал точно в цель. Кабан озверел и двинулся на толпу взрослых. Все бросились врассыпную. Замешкались только Рина да Роман, один из сотрудников института. А кабан шёл прямо на них. Тут Роман, вообразив себя котом, полез на дерево и случайно заехал бедному кабану прямо по голове каблуком (так как был он невысокого роста и, чтобы казаться выше, носил ботинки с каблуками). Получив по голове, кабан окончательно рассвирепел и двинулся прямо на Рину. Та стояла к нему боком, вжавшись в какой-то кустарник. Кабан со всего маху воткнул ей в ногу свой клык. Удар был настолько сильным, что Рина упала. Лёжа на земле, она мысленно обратилась к Богу, чтобы кабан скорее выдернул клык, но не тут-то было. На ней были капроновые колготки и плотные джинсы, и кабан, попытавшись освободиться, сделать это не смог. Сцена напоминала чем-то фильм «Фанфан-Тюльпан». Роман, сидя на дереве, смотрел на Рину, лежащую на земле, и кабана рядом с ней. Так и хотелось сказать: «Ах, какой отсюда прекрасный вид!» Через несколько минут бедному животному всё же удалось высвободиться и, испуганный, он рванул прочь. Рина мысленно поблагодарила Господа, что осталась жива. Она медленно поднялась с земли и попыталась сделать шаг. Но тут увидела, что из пропоротой ноги хлещет кровь. Подбежавшие к ней Люба и Роман взяли её под руки и отвели в поликлинику. Там рану ей перевязали, но направили в травмпункт. Рина попросила Любу поехать к ней домой, покормить дочь ужином и посидеть с ней до её возвращения.

В травмпункте врач в её историю не поверил, пока туда не позвонили из поликлиники МГУ и сказали, что Рина стала шестой жертвой сбежавшего не из цирка, а из леса, кабана и что застрелили его специалисты из охотничьего хозяйства, вызванные сотрудниками поликлиники. К счастью, кабан оказался не бешеным. Рану, которую от загрязнения спасли капроновая и джинсовая ткань, конечно, зашили. Но на правой ноге у Рины до сих пор остался след от этой встречи длиной около двенадцати сантиметров.

Рина потрогала рукой шрам. Да! С этим животным шутки плохи! Так что будем жить в следующем году осторожно, чтобы символ года не подложил нам всем большую свинью!



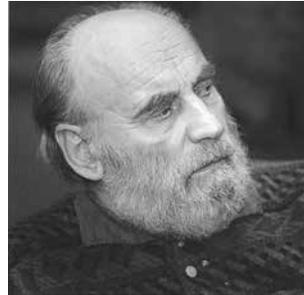


ПОЭЗИЯ

Юрий БОГДАНОВ

Юрий Николаевич Богданов – родился в г. Горьком, окончил музыкальное училище им. М.И. Глинки (1964 г.), Литературный институт им. А.М. Горького (1974 г.). Автор более двадцати книг стихотворений, в том числе «Галактика души» (сонеты), «Музыку небесную я слышу», трёхтомного собрания лирики («Солнцу хвала», «Всевышней любовью», «Лунное затмение»), «Капелью проклянуты чувства», «Поделись надеждой с врагом своим», а также поэм – «Ванька, встань-ка», «Пётр и Февронья», трагедий «Джунглетта», «Морок», «Из-под плинтуса», «Проскурова лажа», «Последний круг» и других. Секретарь Правления Московской городской организации Союза писателей России, Академик Петровской Академии наук и искусств.

Живёт в Москве.



На полях, изорванных войной...

Солдат

Уходил на войну – провожали застольем:
Чин по чину, как в древней Руси.
Целовали и плакали с горькою болью,
Затаённую грусть к расставанью несли.

...Он вернулся домой.
Рукавом гимнастёрка
Всё кому-то махала, гудела, как флаг.
Может быть,
воевал он не хуже, чем Тёркин,
Только имя его,
не у всех на устах.

Да что имя?
Он ждал эти буйные росы,
Эти руки бегущих навстречу от хат...
Имена на могилах...
И в сердце их носит
Столько лет, как осколки, живущий солдат.

Свислочь шумит

Что-то Свислочь шумит, глухо стонет сушняк
По ночам на окраине Минска.
Птица крикнет, сучок обломается так,
Словно выстрел убил кого-то из близких.



По теченью плывут, чёрной ночи темней,
Рядом с берегом мёртвые брёвна...
Уносила война самых близких людей –
Наших братьев
далёких и кровных.

В нас живут короткие их строки...

Писем нет!
Уставшая от пыли,
Пролегла дорога под луной.
Скирды, словно братские могилы,
На полях, изорванных войной.

По стерне, по скошенному лугу
Я иду к разрывам грозovým.
Что мои страдания и муки
Тем,
отжившим, добрым, дорогим?

В нас живут короткие их строки
О себе, о мире, о стране,
Сломанные жизненные сроки
И рассказ обычный о войне.

Писем нет!
Уставшая от пыли,
Пролегла дорога под луной.
Скирды, словно братские могилы,
На полях, изорванных войной.

Мать

Глаза закроет –
видит пред собой...
Метель в окно ударит ненароком –
Вся встрепенётся...
и – поникнет головой,
Забывшая просроченность всех сроков.

Ещё пожить, чтоб только увидеть
Его глаза – синее внешней сини...
И тридцать лет живёт на свете мать,
Убитая безвестной смертью сына.

«В лесу прифронтовом...»

Убили в роще соловья,
 В упор из пушек расстреляли.
 Осиротевшая семья
 Не отдыхает от печали.
 А взрывы западной гремят,
 Бегут фашистские убийцы...
 И кто-то скажет из солдат:
 «Они поют.
 Да что им, птицам?!».

Бывает так...

Бывает так, что мыслей светлый рой,
 Как звёзд косяк, утонет в низких тучах.
 И тихий дождь прольётся над землёй
 С далёким треском выстрелов по сучьям.

Ещё не всё спокойно на земле,
 И наступает трудная минута...
 Опять о тех, что сгнули во мгле,
 Как праздничные ниточки салюта.

Бессонница

Словно кто-то бьёт по крыше гирей –
 Тикают часы в моей квартире.

Не страшат метель и непогода,
 Смехотворны мелкие невзгоды...

Будто все «замедленные» в мире
 Собрались в одной моей квартире.

* * *

Катился шар по небосклону
 И в дымоход упал без звона.
 Пропели тонко половицы –
 Застыли в бледном свете лица
 Живой и мёртвых в этом доме...

Пять сыновей в солдатской форме
 На довоенном жёлтом фото...

И мать спросила тихо: «Кто ты?»

Вопрос остался без ответа.
 Остановилась вдруг планета.
 Шар нал деревней возносило,
 Лишь фотку сквозняком разбило.

**Три сна неизвестного
 немецкого солдата Ханса Н.
 в ночь под 1941 год...
 и одна действительность**

Сон первый

Он – марш бравурный
 в грохоте сапог.
 Его любимцы –
 пьяные солдаты:
 как барабан,
 их головы пусты,
 весёлой музыкой
 залеплены их уши.
 Кто говорит,
 что могут их убить?!
 Война –
 прогулка
 в блеске медных труб
 и в грохоте
 военных барабанов...
 Но гаснет звук,
 а пыль ещё кружит
 над неостывшим трупом
 солдафона...
 Ну, ближе, Ханс!
 Вглядишься в него –
 твой брат...
 Знакомый профиль...
 Музыка всё глуше,
 но вот она
 из горла потекла
 и запеклась...

Сон второй

Боже!
 Свастика – он:
 на знамёнах распят,
 на домах, городах,

на умах он распят.
 Руки и ноги,
 как связки колбас,
 как удавы,
 как виселиц петли.
 И следы щупалец
 по квартирам ползут...
 И отец не успел
 испугаться....
 А сестра убежала
 в рубашке ночной,
 и потом –
 в переулках бездонных
 стенала...
 Тень его,
 как решётка тюрьмы,
 над Европой сожжённой
 распята.

Сон третий

Восемь лет он торчит,
 как в обойме патрон,
 голова тяжела,
 как свинцовая пуля,
 и не выйдешь из строя:
 слева и справа стоят
 всё такие же Хансы
 О, ужас!
 Каждый смотрит
 в какую-то точку...
 Куда?..
 Где единственный выход
 найдёт из обоймы...
 Голова заметалась
 в стволе,
 отделилась от тела –
 и ринулась, будто волк
 на отару овец...
 Ближе, ближе,
 Но что это?
 МАТЕРИ!!!
 Скорбных лиц
 и упрёков толпа...
 – Мама?!!
 – ХАНС?!!
 – Ты прости меня!
 – Поздно!

Поздно, сын!..
 – Но за что?..
 Я убить не хотел...
 Восемь лет я лежал
 Чёрной пулей в стволе.

Одна действительность

Он вспоминал
 три этих сна:
 КОГДА на лица
 ружей перекрестья ложились,
 как могильные кресты;
 КОГДА никем
 не скошенная рожь
 в огне кричала,
 корчилась и никла;
 КОГДА детей
 и слабых стариков
 они живыми
 сталкивали
 в ямы;
 КОГДА всё рушилось,
 И РЕЙХ
 трещал по швам,
 когда он сам
 остался сиротой,
 КОГДА он по инерции
 бежал с простреленной
 навывлет головой;
 КОГДА...

 БЫЛА ОДНА ЛИШЬ ЯВЬ!!!





ПОЭЗИЯ

Василий ЛОВЧИКОВ



Василий Дмитриевич Ловчиков – родился в 1935 г. в городе Воронеже. В 1957 г. окончил Высшее военноморское инженерное радиотехническое училище в Гатчине. С 1957 по 1964 гг. служил в Военно-морской и Дальней авиации (ДА) на разных должностях. В 1967 г. окончил Военно-дипломатическую академию (ВДА). Работал в Москве, за рубежом и в ВДА. Кандидат военных наук, доцент, академик Международной академии духовного единства народов Мира. В настоящее время – профессор Военного университета МО РФ. С 2000 г. член Союза писателей России, член-корреспондент Академии поэзии. Автор 24 сборников стихов и поэм. За литературную деятельность награждён шестью медалями, в том числе: Владимира Маяковского, Михаила Лермонтова и Александра Пушкина.

Живёт в Москве.



Верим, солнце добра взойдёт...

Гражданская лира

Хочу я быть певцом и гражданином
Сергей Есенин, «Стансы»

Все лучшие известные поэты
Оставили не только рифм расцвет,
Не только ими чувства все воспеты,
Долг гражданина также был воспет.
Кольцов, Некрасов, Лермонтов, Есенин
Клеймили подлость, ненависть и зло,
Добром делились, не скупясь, со всеми,
Боролись с рабством, не жалея слов.
И нынче на планете зло резвится,
Пожар войны пылает там и тут,
И на земле господствуют убийцы,
А подхалимы их трусливо чтут.
Злодей, он как болезнь, зло сеет даже трупом,
Мир это осознал: лишь Гитлер слопал яд,
Его сменил тотчас другой убийца – Трумэн –
Впервые на земле устроив сущий ад!
И от его друзей, масонов, спасу нету:
Один крутой злодей стартует за другим,
Несут пожар войны бессрочной эстафетой,
Им вслед ползёт беда, как по воде круги.

Сейчас по воле их вновь вспенились фашисты,
Творят в стране разбой, под пену наглой лжи,
А в Штатах главный негр, с усердием артиста,
Свой обессмертить след их варварством спешит.
Но не спешит пока со злом схлестнуться лира,
Про свой гражданский долг успела позабыть,
Как видно, недосуг клеймить пороки мира,
Одна волнует цель – хиты попсе творить.

О коррупции

Опять спешит по рельсам электричка,
Ей за окном окрестность смотрит вслед,
А также я, как видно, по привычке,
Местам знакомым взором шлю привет.
Всё чаще радуют картины обновленья,
Роятся зданья там, где рос бурьян,
Штурмуют взор прекрасные строенья,
Как корабли штурмуют океан.
Где год назад пустырь топтали козы,
Царил болотный рай среди камышей,
Теперь есть где и посудачить взрослым,
И для восторгов шустрых малышей.
За двадцать лет, что властью правит Путин,
Размах строительств поражает взгляд,
Но не за всё власть нынче хвалят люди,
А власть советскую, как прежде, не бранят.
Исчезли с глаз райкомы и обкомы,
Где каждый мог защиту отыскать,
Сейчас ответ коррупции знакомый –
Учись размеры взяток угадать.
Внушают нам – она непобедима!
Хотя исход победы налицо!
Меч конфискации даст шанс неумолимый –
Изъять коррупцию у наглых подлецов.
Лишь взятка каждая запахнет нищетою
Тому, кто сам дань с нищего берёт,
То даст понять ему, что брать её не стоит,
Она берущего до нитки обдерёт!
Но разве депутаты согласятся
Дамоклов меч на рать грабителей поднять?
Ведь и самим придётся отказаться
От шанса впрок копилку пополнять.
Вот потому все взяточники «стонут»:
Коррупцию де победить нельзя!
И строим в ней стремглав без страха тонут,
Стараясь с жертвы дань наваристее взять.

Мы не сможем спокойно жить
(Песня)

Мы не сможем спокойно жить,
Пока зло есть кому творить,
Тем, что жгут всё вокруг дотла,
И звереют в припадке зла.
 Не смущает их смерть детей,
 Слёзы плачущих матерей,
 Беспредел утверждая свой,
 Вновь терзают народ войной.
Время, братья, нам дружно встать,
Беспредельщиков наказать,
Чтобы каждый убийца знал –
Ждёт позорный его финал.
 Что нельзя покорить народ,
 Он достойный ответ найдёт,
 Даст нацистам опять понять –
 Нас злодейством не запугать.
Наша цель – на земле родной
Сделать так, чтоб царил покой,
Чтобы счастлив был стар и мал
И пороков войны не знал.
 Мы не сможем спокойно жить,
 Пока зло есть кому творить,
 И фашистский подонок злой
 Вновь терзает народ войной.
Верим, солнце добра взойдёт,
Мрак фашизма сметёт народ,
Торжествуя, восславим вновь:
Праздник разума, мир, любовь.



ПОЭЗИЯ

Марина ЗАЙЦЕВА
(ГОЛЬБЕРГ)

Марина Зайцева (Марина Дмитриевна Гольберг) – член Союза писателей России, член Содружества писателей г. Варны (Болгария). Автор более 20 книг стихотворений и прозы. Публиковалась в журналах «Сахалин», «День и ночь», «Дальний Восток», «Сихотэ-Алинь», «Аврора», «Смена», «Юность». Лауреат Премии губернатора Сахалинской области. Отмечена наградами МГО СП России. Стихи переведены на болгарский язык.
Живёт в Москве.



Счастливая девочка-эхо...

Крым

Вверху над тобой проплывают, как реки привольные, ветры.
Внизу море Чёрное синий текучий атлас расстилает извечно.

Турецким высоким седлом ты царишь над Мисхором, Ай-Петри,
Стянувший бока ему туго подпругой серебряных речек.

Усталое солнце садится, шипя, в черноморскую тёплую ванну.
И звёзды встревоженным роем, как брызги, взлетают всё выше и выше.

И горным козлом сиганул и исчез Ай-Тодор далеко за туманом.
И прячет Алупка в камнях свои плоские пёстрые крыши.

От печи заката дохнуло на берег горячим распаренным бризом.
Замолкли цикады на миг, прочищая свои отсыревшие горла.

И трепет легчайший возник в белых праздничных платьицах яблонь.
И дух абрикосовый сладким дурманом домишки накрыл Симеиза.

И сердца бутон северянки приезжей, больной и озяблой,
Вдруг распахнулся – и замер на тоненьком стебле восторга!

Весенний сонет

Льву Гольбергу

Что там нынче в контексте весны,
Что босою бредёт по снегам? –
В нём цветные сумбурные сны
И синичий восторженный гам.

Половодье несбыточных грёз
И томящих желаний цветы.
Вновь нашедшийся ключ от мечты
И набухшие почки берёз.

И встречая жемчужный рассвет,
Ты за шарик воздушный держись.
Напиши мне весенний сонет –
Про любовь и про вечную жизнь.

Пусть надежда нас вновь осенит,
Воспарив белой птицей в зенит.

Машенька

Марине Цветаевой

Моя дорогая Мари!
Мой ангел. Мой солнечный зайчик.
Не надо держать и пари,
Что нравится Вам этот мальчик.

Мари! Вам тринадцать всего.
И сны Ваши очень тревожны –
Куда Вы зовёте Его,
Иль сам Он зовёт Вас, возможно...

Вы – фея из кружев и роз.
Он – Ваш оловянный солдатик.
В волшебном кружении грёз
До школьных ли скучных занятий...

Мари! Вас то лёгкая грусть,
То смех озорной освещает.
А мальчик не знает. И пусть
Причины их дольше не знает.

Одуванчики

Солнечные дети – одуванчики,
(Близнецы все: девочки и мальчики),
Шустро разбежались по лугам,
Льнут к моим доверчиво ногам.

Они сзади, спереди – вокруг.
Брызги солнца разлетелись вдруг
По просторам утренним земли
И ещё за краешек – вдали...

К жёлтым головёнкам прикоснусь –
И как будто в детство окунусь.
В душу хлынул золотистый свет.
Ветерок шепнул в ушко: «Привет!»

Слушая жужжание шмеля,
Я бреду за рощи, за поля...
Крыльями шуршит стрекозий сонм.
Сплю я наяву счастливым сном.

Май

С нарисованным солнцем
На синем холсте
Май однажды проснётся
В нагой простоте.

И раскрасит зелёным
И кусты, и траву,
Листья высветит клёнам
И церквушке главу.

Птиц рассадит, где хочет –
Пусть поют там и сям,
Ветерком захлопочет
По лугам и лесам,

Потрясёт мокрой кистью –
Ливень хлынет с небес!
С нерассказанной мыслью,
Без ненужных словес,

Не спеша и не всеу –
Вдохновенным творцом –
Он людей рисует
С человеческим лицом.

Улица детства

...Я птенцовую интуицию,
Подсознание малька включу –
Гибкой рыбою, ловкой птицею
В детства край поплыву-полечу.
Не имея миграции практики,
Ни магнитных путей в виду –
Я сомнамбулой, я лунатиком
Путь кратчайший туда найду.
Не по лимбу педанта-компаса –
По наитию детских лет
Мне родная дорога вспомнится.
Так зверёныши помнят след.
Вот от солнышка жмурится улица,
На траве-мураве – роса.
Стрелки в недоумении крутятся
И слетают с осей полюса!

Старое фото из альбома подруги

Счастливая девочка-эхо,
Ты – память моя обо мне –
Из детства с серебряным смехом
Босою бежишь по стерне.

Совсем на меня не похожа,
Бесстрастны – не врут зеркала...
Но, девочка-эхо, я всё же
Тобою когда-то была!

Потрескалось старое фото,
Нечёткий и выцветший год.
Но кроме меня разве кто-то
Прочтёт этот памятный код?

В полвека минуя преграду,
Ты, памяти эхом звеня,
По лугу июльскому к Ваду
Бежишь. Сердце колет стерня...

Предрассветный сонет

Тая Немовой

Ночь к рассвету – сонно-тихая,
Как колодезь глубока.
Мирозданья стрелки тикают,
Катит Вечности река.

Над селеньем фронтом строится
С гулким рокотом гроза.
Мне июньская бессонница
Не даёт сомкнуть глаза.

Пригибает ливень веточки.
Зорька дымно занялась.
Черновик – тетрадка в клеточку –
Перечёркнут сотню раз...

От ночного вдохновения –
Таинство стихо-творения.

Воспоминание о Яхроме

Над Яхромой в июльских небесах –
На наших зачарованных глазах –
Большие разноцветные шары
Всплывают чередой из-за горы.

И воздух поднимает их в зенит,
А ветер тетивой в ушах звенит.
Огромные воздушные цветы
Привет нам посылают с высоты.

О, Яхрома! Раздольный край Руси,
Меня на шаре медленно неси,
Над вдаль и в ширь простёршейся страной,
Над облаком, плывущим подо мной,

Над глобусом зелёно-голубым,
Над краем, что навеки мной любим.
И весело я по небу лечу.
И людям вниз: «Я вас люблю!» – кричу.

Стихи не про осень

А завтра – осень.
Но ещё листва
Густа и зелена не по сезону.
И дремлют в неге
тёплого муссона
Забытые штормами острова.
Ещё душа легко устремлена –
По-летнему –
в заоблачную просинь.



ПОЭЗИЯ



Сергей Юрьевич Газин – поэт. Член Союза писателей России. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Автор 13 книг стихотворений. Награждён орденом «За вклад в литературу России XXI века» и медалями: «За мастерство и подвижничество во благо русской литературы», «За Победу!» и др. Лауреат премий МОО СП России им. Ярослава Смелякова, Евгения Зубова и «Золотое перо Московии». Кавалер Золотой Есенинской медали.
Живёт в Москве.

Сергей ГАЗИН



Глагол откровенья

Донбасс

Грохот снарядов и едкая гарь,
В детской крови возле парты букварь –
Падают дети и учителя,
Стонет от горя в Донцеке земля.

Бьют негодяи по мирным домам,
Совести нет, и души ни на грамм...
Звери-убийцы пришли на Донбасс –
Чёрных вампиров злодейский спецназ.

Солнце в дыму закоптилось совсем,
Люди кричат, но весь мир будто нем –
Рвутся снаряды, кромсая тела...
Мама! Зачем ты меня родила?..

Игра в кости

Игра продолжается в кости
С древних времён по сей час...
Хоть кто-то и брякнет: Ах, бросьте!..
Но кости всё скажут за нас.

Бросают людей в подвалы,
Кромсают тела детей –
Вместо улыбок оскалы,
Злобные хари зверей.

Снова впиваются гвозди
В пленных, как в тело Христа –
Просто, так выпали кости...
Смерть для безумцев проста...

Ведь убивать стало проще,
Выстрелил издалека,
Раз! – и больницы нет больше –
Счастье в глазах дурака...

Тогу сменили на смокинг,
Но белые кости в крови...
Кровь для вампиров, как допинг –
Жизнь прожигать без любви.

На донецкой земле

Не пульсирует кровь в сердце каменном, –
Кровь «чужая» течёт по земле.
Нет прощения всем новым каинам,
Обезумевшим напрочь во зле.

Жгут огнём в душах раны глубокие,
Будет грозен возмездия час!..
И не знают безумцы жестокие,
Что их прокляли тысячи раз...

Белые молнии

Настало время грозовое...
Мир зашатался без любви –
Под своды Храма неземного
Всем сердцем шлю мольбы свои.

Громады волн огня лихого
Из белых молний шаровых
Найдут безбожника любого –
Оставят ли кого в живых?..

Правда и кривда

Правда безбожно зарыта
Грязной рукою неверной,
Кривдою тьмы перевита –
Спрятан глагол откровенья.

Но чистится небо ветром,
Путь озаренья не гладок...
Правда – омоется светом,
Выпадет кривда в осадок.



Элеонора Валентиновна Кузнецова – поэт. Родилась в Москве. Член Союза писателей России. Лауреат литературной премии МОО СП России «Золотое перо Московии». Награждена орденом «За вклад в литературу России XXI века», медалями: «За мастерство и подвижничество во благо русской литературы», «Великий князь Сергей Александрович», «За Победу!», а также Дипломом «Победитель конкурса «Путешествие в страну чудес» с вручением именной статуэтки в номинации «Поэзия».

Живёт в Москве.



В поэзию, как в храм!

Мастеру

Читаю книги Котюкова –
В них мастерство во всех строках,
Там тонкость мысли, точность слова,
И доброта, и свет в глазах.
Признал меня как ученицу!
И преподавал мне мастер-класс –
Перелистнул мою страницу,
Отредактировав не раз...
Теперь не сплю, пишу ночами,
И удивляюсь чудесам –
Стихи, как песни, зазвучали,
Летя в поэзию, как в храм!
Я благодарна Котюкову
За школу и за новый путь,
Где мысль даёт свободу слову,
А в каждом слове – жизни суть.

Памяти Льва Котюкова

Лев обо всём писал, как есть,
Но силой слова – восхищал!..
И правде воздавая честь,
Сражал всю кривду наповал.

Он смог вместить в своей душе
Гораздо более других,
Узрев в небесном витраже
Христа пресветлый божий лик.

Всю жизнь в борьбе за правды соль
С пером провёл он на пути,
Познал страдания, всю боль,
Чтоб с Богом далее идти.

В кулак сжимая смерть свою,
Простился с белым светом он,
Встав во главе в живом строю
Поэтов будущих времён!

Первый снег

А утром выпал первый снег,
Запорошив глубокий след
Вечерней сумрачной тревоги...
Чтоб не исчезли в мираже,
Красивым почерком в душе
На чистый лист ложатся строки.

В них всё – реальность и мечты,
В них жизнь моя, и я, и ты...
И увлажнённые ресницы.
И тает лёгкой грусти след,
Всё ярче солнечный рассвет.
И радостно щебечут птицы.

Они рассказывают сны –
Как мчатся к нам лучи весны,
Любую выдержав погоду...
Ловлю на мысли я себя,
Что если ты живёшь. любя. –
Душою пьёшь живую воду!



ПРОЗА

Сергей БАГРОВ

Смути и удиви

На горестной земле

МЫ играли в шахматы. На коньяк. Кто проиграл, тот и отправится за бутылкой. Играли мы не в редакции. Новый редактор Леонид Анатольевич Фролов, наводя дисциплину, арестовал в редакции все стаканы, заперев их в металлический сейф, а сотрудникам строго-настрого запретил пить вино с посторонним народом, и чтобы в шахматы не играть, и никаких там гармошек, гитар и песен.

И вот сидим мы не в кабинете, а в травке, рядом с редакцией и милицейской конторой на берегу летней Вологды в тени от высоких ракет. Играем втроём – я, Рубцов и Гоша Макаров.

Гоша, бывший моряк, а теперь стихотворец и журналист. Рубцов в шахматах был не особо силен. Да и Гоша вроде него, а может, даже и послабее. Поэтому первую партию он проиграл. И ему полагалось бежать в магазин. И какое же жалобное страдание выразил он своим впалощёким лицом, когда признался, что денег с собой у него всего лишь 20 копеек. Коньяк же стоил на три рубля больше.

– Играй со мной!! – потребовал я, не веря в то, что выиграю у Гоши, ибо играл я в шахматы очень плохо. Но получилось так, что Макаров опять проиграл.

Надо было смотреть на Рубцова, какое спокойствие с переходом к участию отражалось в его задумавшихся глазах, загорелом лице и даже в движении рук, когда он закуривал сигарету, наклоняясь к огоньку на вспыхнувшей спичке. Он сочувствовал нам обоим. Мне, исключительно потому, что я, отправлявшийся в отпуск, деньги на этот коньяк имел, но я победил, и покупать его, само собою, не должен. А Макарову потому, что он выглядел беззащитным. Теперь всё зависело от меня. Я это понял. Сунул руку в карман.

– Вот тебе, Гоша, четыре рэ. Да не забудь по конфетине на закуску!



Сергей Петрович Багров (1936–2022) – родился в г. Тотьме Вологодской области. Окончил Тотемский лесной техникум и Пермский госуниверситет. Работал техником-строителем лесовозных дорог, плотником, кочегаром, горным проводником, геодезистом, собирателем фольклора, сотрудником газет. Член Союза писателей. В издательствах «Современник», «Молодая гвардия», «Детская литература», «Северо-Западном» и Вологодском выпустил ряд книг. За одну из них «Россия. Родина. Рубцов» стал лауреатом Всероссийской премии «Звезда полей» имени Николая Рубцова. Рассказы и повести публиковал в журналах «Север», «Волга», «Русь», «Лад вологодский». Ушёл из жизни после продолжительной болезни 1 июля 2022 г.



Предвечерие. Солнце так и палит. Мы спустились пониже к реке. У Рубцова с собой гитара. Пристроив её, пробежался рукой по вздрогнувшим струнам.

– Коля, а эти, – я мотнул головой на дорогу, за которой был двор милицейского учреждения, – нас не услышат?

– Пускай! – ответил Рубцов, и глаза его, заострившись, посмотрели куда-то вперёд, за высокие ледорезы, за перила моста, за покатые крыши заречных домов, за убогую, без креста, с арматурой на луковке колокольню.

Я-то знал, какое прескверное состояние было у Николая. Оттого и в шахматы взялся играть, оттого и гитара с собой, что хотел всё забыть и отвлечься. Навалилось со всех сторон. Деньги, деньги. Кто пошлёт их? Когда? И сколько? Бумага из Тотемского суда, куда он был должен отправить справку о заработке своём, чтоб из него отчисляли на алименты, которые требуют от него Генриетта и тёща Шура. Да и дочка ещё на уме, послать бы ей яблок, конфет и игрушек, об этом просила она в письме, и он страдал оттого, что не знал, каким образом всё это сделать. Вдобавок, ещё голова, кто-то треснул сзади бутылкой, и теперь который уж день что-то в ней беспрестанно звенит и поет. За квартиру ещё вот платить. Словом всюду, из всех подворотен, со всех горизонтов земли на него надвигались тени и тучи.

– Ничего, – Николай опять перебрал зазвеневшие струны, посмотрел на промчавшийся с рёвом маленький катер и щемяще запел:

*О доблестях, о подвигах, о славе
Я забывал на горестной земле,
Когда твоё лицо в простой оправе
Передо мной сияло на столе.
Но час настал, и ты ушла из дому.
Я бросил в ночь заветное кольцо.
Ты отдала свою судьбу другому,
И я забыл прекрасное лицо.
Летели дни, крутятся проклятым роем...
Вино и страсть терзали жизнь мою...
И вспомнил я тебя пред аналогом,
И звал тебя, как молодость свою...
Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слёзы лил, но ты не снизошла.*

*Ты в синий плащ печально завернулась,
В сырую ночь ты из дому ушла.
Не знаю, где приют своей гордыне
Ты, милая, ты, нежная, нашла...
Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий,
В котором ты в сырую ночь ушла...
Уж не мечтать о нежности, о славе,
Всё миновалось, молодость прошла!
Твоё лицо в его простой оправе
Своей рукой убрал я со стола.*

Песня меня смутила и изумила. Я спросил у Рубцова:

– Уходит в сырую ночь. Прекрасная женщина. У Блока, как ты считаешь, всё так и было?

– Это больше чем женщина, – ответил Рубцов, – это наша судьба. И его! И моя! Судьба поэта, который стоит на краю, и последнего шага уже не будет...

Тут Рубцов, подхватив гитару, поднялся и быстро-быстро пошёл к дороге.
– Где же наш шахматист? – раздражённо спросил. – Куда подевался?

Закурив, мы прошли к пешеходному на бревенчатых сваях мосту, откуда лучше просматривалась дорога, по которой был должен вернуться наш Гоша. Ждали-ждали, но так дожидаться и не смогли.

– Не придёт, – сказал с досадой Рубцов и посмотрел на меня: – Одолжи мне четыре рубля. Мне они нужны до зарезу...

Я его понимал. Надо было Рубцову выпить, успокоить себя, усмирить заходившие нервы, посадить на порядок их ниже, может, даже на самое дно всей этой круто запутанной жизни, в которой всё так непросто, всё так замызгано, залито мутью, что обойтись без вина, ну никак уже стало нельзя...

Теперь, спустя годы, я вспоминаю ту песню, и даже время от времени наслаждаюсь её звучаньем, благо она всегда под рукой. Но поет её не Рубцов, а Шилов. Алексей Сергеевич тоже слышал, как пел «О доблестях...» Николай Рубцов и, запомнив мелодию, начал сам напевать, доводя эту песню до совершенства.

Песня записана на кассете. Вникая в тревожные блоковские слова, вижу одновременно Шилова и Рубцова, и ту прекрасную женщину в синем плаще, которая в мраке ночи уходит из дому. Уходит потерянно и печально, и не приходит, кажется, никуда.

Пёсья Деньга

Город Тотьму без Пёсьей Деньги, речки тихой и благонаправной, представить, кажется, невозможно.

Пёсья Деньга – речка-труженица. Она же и мученица. И защитница древнего городища, смотревшего деревянными стенами в её воды.

В майское половодье она готова принять в распахнутые объятия сотни тысяч кубов делового леса. В годы сталинских пятилеток кто с ней только не расправлялся! Перетягивал режущими тросами. Топтал тракторами. Рвал сокрушающим аммоналом.

Сплав закончен давно. И в высокое половодье здесь всегда – суровая тишина. Примечателен левый берег, где когда-то стоял острог, защищавший кондовыми брёвнами крепость города вместе с храмом Богоявления. Именно в эту пору, пору глухого Средневековья и вели поединок две ратные силы. С одной стороны воевода Михайлов с отрядом тотемских удалцов. С другой – ксендз Грыжинский, предводитель отряда польских легионеров. Поляки, имея пушки, обстреливали город с дощаников и плотов. Они же сквозь битые стены острога, словно вши, проникали в покои двора. Для чего? Для того чтоб спалить всё, что пламени поддаётся, а храм с колокольней ограбить, забрав с собой все священные книги, иконы, паникадила, колокола, которыми так гордились жители Тотьмы. Количесвом воинов поляки превосходили защитников городка. Однако прорваться в крепость, хотя и пытались, но не сумели. Даже напротив, были отброшены в Пёсью Деньгу.

Речка впадала в Сухону, и в пожарном свете огней её ход был торжественен и ужасен. В бурных струях мелькали тела, блестели мечи, кто-то кричал, кто-то бил щитом по щиту, кто-то захлёбывался и плакал.

Ту короткую битву навсегда запомнил западный склон острога, тот, что круто переходил в левый берег реки. Здесь защитники русской земли

положили головы как герои. Старожилы города говорят, что расплёсканная над речкой кровь человеческая навсегда удобрила эту местность. Оттого и растёт здесь неумирающая ромашка. 400 лет уже как растёт, славя тех, кого мы не знаем. Не знаем, но почитаем. И время от времени всматриваемся туда, где, обнажаясь сегодняшним днём, нам обнажается и бывшее.

Не стреляй, человечиче...

Селезень с уточкой. Плавают, радуются свободе. Оба красивые, молодые, самой природой назначенные для счастья.

Где-то рядом – сплетённое из травинки осоковое гнездо. Ещё вчера в нём были яички. Ровно семь. А сегодня уже утяточки. Тоже семь.

Мать с отцом торжествуют. Сегодня они на реке. Вдвоём. А завтра – всей утиной семьёй.

То и дело они ныряют, испытывая глазами, перьями и сердцами отраду подводного пребывания. Но вверху, где так много простора, брызг, сияний и красоты, где гнездо, а в гнезде ворочаются цыплята, им ещё отраднее и милее.

Неожиданно – тень охотника-птицебоя. С наведённым на них стволом. Первым селезень встрепенулся. Встрепенулся и тут же понял, что прятаться им уже поздно. Но не поздно броситься к уточке на защиту. Не поздно и крикнуть, сообщая отчаянным криканьем птицебою:

– **Н**е стреляй, человечиче, в нашу маму! У неё семь утяточек. Без неё они пропадут. Ты в меня, человечиче! Я – сейчас! Я – поближе к тебе. Чтобы ты... Чтобы, чтобы не промахнулся...

Друг-спаситель

Помнится, в Тотьме, на Красную, 2, где жила моя бабушка, приходили многие жители деревень, кого Александра Ивановна зачастую даже не знала. Как правило, все они отправлялись на пароходе по Сухоне в Вологду или дальше. И время, которое оставалось до отправки парохода, удобнее было препроводить не на пристани, а вблизи от неё, в деревянном доме за самоваром, рядом с хозяйкой, которая, выставив чашки с вареньем, садилась к окну за станок и плела кружева.

Жил я с мамой, сестрой и братом недалеко от улицы Красной, потому и бывал у бабушки часто. И постоянно видел уставших после дороги откуда-нибудь из Медведева, Середского, Совинской, Вожбала, Старой Тотьмы и прочих больших и маленьких деревень пешеходов и пешеходок, кто, достав из заплечных мешков глыбку хлеба с яичком, притыкались к столу, чтобы выпить чашечку чая.

Запомнился лысоватый с пороховыми ожогами на лице, одетый в солдатскую форму улыбчивый человек по фамилии Тихановский. Пришёл он за 50 километров из Заозерья. Фамилию я запомнил, кажется, потому, что он называл её несколько раз, когда, попивая из блюдечка чай, разговаривал с нами. И ещё потому, что позднее, когда я начал учиться в Лесном, то подружился там с неким Юрием Тихановским, который был тоже из Заозерья. Оттого фамилия в памяти и осталась.

– Вот, – говорила бабушка, ставя на стол вскипевший на угольях самовар, – чем богаты, – и добавляла к нему вынутую из горки вазу с вареньем.

Тихановский достал, в свою очередь, из солдатского сидора каравай. Отрезал два ломтя. Один – для себя, второй – протянул к дивану, где я сидел и тайно желал, чтобы мне угоститься вкусным гостинцем. И вот гостинец, тепло отдававший печёным в русской печи белым хлебом, был у меня в руках, и я, откусив от него пару раз, вдруг спохватился, вспомнив, что есть у меня старшие брат и сестра и что они сейчас тоже голодны. Таясь, чтоб никто не видел, пихнул недоеденный хлеб куда-то под ворот рубашки. Была осень голодного 45-го года. Вот почему я сидел и внимательно слушал душевного гостя, воспринимая его как редчайшего добряка.

– **А** кто по профессии? – спрашивал Тихановский. Сам же и отвечал. – Просто колхозник. Хлебное поле бы мне обихаживать. Да не вышло. Война. Удивляюсь, как жив остался. Воевал-то ведь я в пехоте. Думаю, потому и жив, что был ранен четыре раза. Не успею выйти из лазарета, как опять сшибает меня, коль не осколком от мины, так пулей, а то и германским штыком. На теле моём нету целого места. Однако же всё заживало. В последний раз, осенью 44-го сшибло взрывной волной. Это за Западной Украиной, в полях, где стояла необранная пшеница. Цельны сутки, поди, провалялся. Когда очнулся, был полдень. Надо мной – облака и листья с опушки леса. И чьи-то живые пальчики, так и щекочут. До смерти хочется пить. К счастью, лежал я едва не в луже от ливня. Тот, видимо, только что лил да прошёл. Напился водицы. И сразу почувствовал голод. Снял со спины вещевик. Должен бы быть в нём солдатский паёк. Но, увы. Пустота. Кто-то, видать, посчитал меня мёртвым. А мёртвому пища на кой? И тут я моргнул. Щекотали меня не пальчики, а колосья, а в них – взъерошенное зерно, так и выстреливает наружу. Стал его есть. Долго не мог от него оторваться. Да припомнился, слава Богу. У лошадей от зерна, коли вволю им похрустят, заворачивает кишки, и они, мучаясь, подышают. А что же у человека? Тоже, наверное, так. А, может, ещё и похуже. После поем, подумал. И стал обрусивать зёрна в кисет. На всякий критический случай. А вдруг где по новой заголодаю?

В этот же день я настиг свою часть. Снова – топ-топ по дорогам войны. Теперь по дорогам уже не русской земли. По дорогам Европы. Шаг за шагом к логову Гитлера. Больно жалею, что не дошёл. Споткнулся от новых осколков, застрявших в шее и голове. Опять попадаю в докторские палаты. Вышел оттуда в мае, считай, в День победы. И сразу, как воробей, на радостных крыльях – домой!

Как и мои земляки, воротился я в своё Заозерье, чтоб продолжить мирную жизнь. С собой у меня только сидор, где – всё своё, ничего чужого, кроме кисета с той самой пшеницей, в которой я оказался контуженным после боя. Эту пшеницу я и посеял в своём огороде. Взошла до единого зёрнышка. И давай наливать, зреть и брунеть. С женой убирали её серпами. Сразу обмолотили и на ручных жерновах намолотили муки.

– Хлебушек сей, – ладонь Тихановского прикоснулась к ковриге, – как раз из этой муки. Получается, он – друг-спаситель для воина на войне. Друг-спаситель и для того, кто войны не знал и, дай Бог, никогда её не узнает. – Тихановский взглянул на меня с улыбкой. – Хочешь, отрежу ещё ломоток?

Я отказываться не стал.

– Хочу. Только я унесу его Мише с Галей, – назвал Тихановскому брата с сестрой.

Запрет

Поздним летом, когда мне было семь лет, я ходил вместе с бабушкой в лес по грибы. Заблудился. Не зная, в какой стороне был мой дом, заметался среди деревьев. Мне ещё повезло. Ноги сами вывели на дорогу. И пошёл по ней вниз, к паровой реке. От реки же встреч мне – собаки. Штук шесть или семь. Серые, с остро вскинутыми ушами. Увидев меня, почему-то свернули с дороги, к ёлкам. Подождали, пока я пройду. И снова выбрались на дорогу.

Собаки ли это? Нет, нет и нет. Обычные волки. Мне они были совсем незнакомы. Потому я не испугался. Не знакомо мне было и то, что собаки в тёмное время не собираются по лесам. Узнал я об этом позднее, когда закончил четвёртый класс и стал ходить, как и многие мои одноклассники в ночное, где мы ловили на удочку рыбу и, расположившись у костра, с вниманием слушали взрослых. Тысячи разных историй. Одна из них – о волках.

– Волки, да чтобы загрызть человека? – как сейчас слышу голос бывшего рыболова. – Ни в коем разе! У них это запрещено. Кого-кого, а двуногих – не тронь! Это вещей запрет. Не обидь человека! Иначе будет расплата. Всю волчью стаю перестреляют...

За всю свою жизнь раз пять или шесть слушал я завывание волка. Как только вокруг всё стемнеет, тут и слышен их вой, обещающий в новой ночи расправу над чьей-нибудь жизнью.

Там, за тёмной рекой по осокле бежит стая серых за верховодом. Разумеется, на охоту. Кому-то из живности в эту ночь так и так пропадать, потому, как и волк нуждается в пропитании.

Ну, а если ещё одна встреча с серыми удалцами? Что тогда? «Ничего! – говоришь сам себе. – Ты не трогаешь их. И они не тронут. Если, конечно, они не учуют в тебе изжитого человека, за кого уже некому стало и отомстить».

Для полного счастья

Война. В ней не только погибшие и живые, но и потерянные, чью жизнь повернуло к трагическому стоянию, а то и смещению с теми, кто изо всех сил цеплялся за радость остаться рядом с порядочными людьми.

Время от времени вспоминаю Гришу Завалина, когда-то жившего, как и я, в посёлке Белый ручей. Наш лесопункт входил в состав Белозерского леспромхоза. Гриша прибыл сюда с артелью сезонных рабочих. И сразу попал на строительство лежневой автотрассы, где я был мастером, и Гриша с первых же дней подружился со мной. Однажды, пережидая под ёлкой осенний ливень, Гриша мне рассказал о войне, в какую он окунулся ещё мальчишкой. У меня была слабость выслушивать тех, кто мог часами рассказывать о себе. Как сейчас вижу длинного, с ожогами на лице сутулого человека, который где-то вдали, но я его чувствую рядом. Он и поведал мне о былом:

«Коровякино. Я оттуда. Это моё родовое село. До осени 41-го было оно Советским. И вдруг на крыше нашего дома затрепетал флаг с фашистским крестом. С утра гестаповцы вместе со старостой ходят по нашим дворам, абы мы, кто живой, выходили немедленно на работу. В ближнее поле. Под стёрнёй его при отступлении наших войск были зарыты пехотные мины. И надо их удалить. Как это сделать, гестаповцев не касалось. Разделили нас на две группы. По 10-12 искателей в каждой. Сами охранники где-то сзади. Держатся на

расстоянии. Так, чтоб мина, если и загрохочет, их бы оставила в целом виде.

Мы, это мальчишки, дедушки и младенцы, шли от шоссе на дороге справа. Такая же группа, однако, из женщин и девочек, слева. Пять вёрст предстояло пройти. Впрягаемся в конные бороны.

Наши соседи сразу мину и зацепили. Взрыв такой, что и нас, хотя были мы шагах в сорока, в разные стороны покидало. Мы растерялись. Хотели было туда, где наши девочки и старушки. Понять: может, кто и живой? Но нас не пустили. Погнали опять. Как сейчас слышу, скрип комочков земли под зубьями бороны. Слышу и вздохи встревоженных дедов. И то, как у нас, у мальчишек, от волнения взломало зубы. Это, наверно, от понимания, что наша жизнь не стоит уже ничего.

Сбежать бы. Да некуда. Чисто поле. Да два конвоира при автоматах. Идём, и не чувствуем тверди под каблуками. Дошли до опушки леса. Здесь нам велено развернуться. Идти в обратную сторону. Туда, где взлетела мина. Потому и мы теперь можем взлететь. Тут слышим мы бряканье, грохот и визг. Оглянулись. Танки с крестами. Вот для кого мы процупывали дорогу. Вот кто способствовал гибели наших односельчанок, оставшихся в поле, как отработавшие своё.

Разбрелись по домам. Живём – не живём. Только время расходуем на печали. И всё-таки, не смотря ни на что, веруем в Красную армию. В то, что она обязательно возвратится.

Верой, кажется, и спасались. Ждали, когда колыхнутся сиреневые мундиры. Заблещут пуговицами на запад. И побегут от нас, как поганцы.

И что же? Кажется, дождались. Германия снова у наших ворот. Идёт и идёт. Теперь не к востоку, а к западу. «Не видеть бы вас никогда!» – думаем мы. Однако у немцев своё на уме. Если и уходить, то уходить не с пустыми руками. Вместе с нами. Мы бы годились у них как товар, который можно выгодно сбывать.

Однако с отправкой нас на запад что-то у немцев не получилось. О, как досадовали они. Терпение нас, как расы, которая им ничего не дала, даже обидела их, отправив туда, откуда они явились, лопнуло, как пузырь. И фашисты, осатанев, всех, кто жил на селе, погнали к глубокой силосной яме. И женщин, и бабушек, и девчушек, не говоря уж о нас, подростках и тех, кто был ростиком до колена, столкнули туда и начали зарывать, закидывать досками и камнями.

Как побег с ладошками человека, там и сям, торчала вскинутая рука. Против этой руки, против тех, кто шевелится сквозь завалы, тут же и выстрелы, как по цели. Смешались и мёртвые, и живые. Наступил запредельный покой.

Апрель 43-го. Ночью, при свете пылающих изб прошли наступающие бойцы Красной армии. А что же село? Ничего. Все, кто в нём был, остались лежать, если не около дома, то в силосной яме.

Оттуда из ямы, кажется, я один и ушёл. Уже на рассвете, с трудом развалив почвенные завалы, выбрался вверх. «Куда я попал?» – спросил у себя, не веря в то, что я нахожусь в родимом селе. Коровятина, как такового, не было и в помине. Справа и слева завалы сгоревших домов. Всюду пепел, горечь и смрад. Кое-как подобрался к родному дому. А где же он сам? Дом с палисадом? С яблоней под окошком? Где же мама моя? Где бабушка? Где сестрёнка? Нет ничего. Нет никого. В сохранности только большая, с подгарами русская печь. Подождав, пока она поостынет, в неё и залез. Неделю, поди, в ней и жил. Ну, а после? После, как погорелец, – туда, куда глаза поведут.

12 лет скитаюсь, как неприкаянный. Вербуюсь, куда попало. Хоть в экспедицию, хоть на шахту. Изъездил весь Советский Союз. Теперь вот у вас...»

Последний раз я виделся с Гришей, когда мне шёл 21-й год. Грише же – 23-й. Расстались навеки. Каждому пала собственная дорога. Я хотел уехать в отроги Тянь-Шань, искать там вместе с геологами алмазы. Гриша мечтал стать писателем. И первый рассказ, какой бы он написал, был бы о Коровякине. О тех, кто так трепетно жил. Для чего непременно увидеться с Богом, попросить у него: всем его землякам дать ещё одну жизнь. Во имя большой справедливости. Для полного счастья.

Смути и удиви

Глаза в глаза

Зима. Гудят под ветром белые берёзы. Искрится снег. Откуда-то с высоких крыш, а может, с облаков слетает лёгкое и неземное. Вон двое. Девушка и кавалер. Оба в меховых полупальто. Остановились и любуются друг другом. Дыхание с дыханием, как два очарования. И этот взгляд. Глаза в глаза. Глядят и обещают то, что сбудется, как сон.

Непокой

Большое русское поле, поросшее мелким лесом, чертополохом и лебедой. Здесь когда-то работали агрегаты, выращивая хлеба. А теперь – тишина. Лишь глубокой осенью среди дикой травы поднимается что-то бывшее, трудовое. Может быть, это тень забытого труженика полей, кого разбудил непокой, и он встал, чтоб понять: будем жить мы на грешной земле? Или – нет?

Неожиданно в тишине что-то чутко зашелестело, как от лопастей хлебной мельницы, запустил которую тот, кто опять становится хлебобобом.

«Неужели такое не сбудется?», – спрашиваем себя. И молчим, принимая действительность хмурым сердцем.

Пробудись!

Кланяются деревья, как молятся, уговаривая кого-то не торопиться, подождать день-другой с листопадом, абы высмотреть напоследок судьбу свою, как дорогу, брошенную с горы в пропасть будущих дней, где белеть будет снежное поле, а над ним сивер-сиверко, что баюкает русскую деревушку, в которой заснула, как бабушка на печи, озябшая Русь.

Бабушка, бабушка, пробудись!..

О самом, об интересном

Чу! Чьи-то крадущиеся шаги. Кто-то спускается от деревни. Спускается с тихой песней. Возле обрыва над берегом, где притаилась скамейка, слышится голос:

– Это, Галинка, ты?

– А то!

– Одна?

– Ну, да, и ну! Ещё и спрашиваешь об этом...

– О чём?

– О самом, об интересном...

Зависть

Человеку так мало надо. Идти бы по берегу и душой принимать то, на что показывают глаза.

Лёгкая лодочка на реке. Сосны с рябинами на откосах. А за ними, как спрятавшись от кого-то, лукавое солнце. Под солнцем внизу на кочках и между кочек пылающая брусника. Вверху же, где гнёзда рябчиков, гроздья рыжеющих ягод. Сам рай!

Рай-то бы рай, кабы не плач ветхой бабушки, потерявшей в лесу любимого внука.

– Мишутка-а! Ты – где-е?

Внук молчит. Заблудился, видать, а может, встретился с сивым волком. Задрожала бабушка. Стало ей потерянно и угрюмо. И вдруг где-то рядышком ворохнуло.

– Я – тут! – отвечает косматый, с пластами земли и двумя рогами столетний пенёк, на который залез пятилетний внучек.

Бабушка тут же преобразилась. Была растерянной, стала шустрой. И даже смеётся.

О, как славно в лесу, когда разгуляется ранняя осень! Запахи белых грибов и ягоды всюду, некуда даже ступить, знай, собирай их в наберуху и корзину! Что и делают старая с малым.

Где-то рядом сквозь можжевельниковый лом крадёт лиса, с завистью думая про себя: «Хорошо быть о двух-то ногах! Вон, какие они! Всем довольны. Ещё и играют!» Лиса засовывает голову в нору.

Из темноты справляется лисовин:

– Чево?

Лиса улыбается:

– Поиграй со мной, муженёк!

– Это как?

– Сперва потеряй меня, а потом отыщи!

– Ну, я этого не умею.

– Я так и знала, – вздохнула лиса, ещё больше завидуя двоеногим.

Милок

Он у меня корявый, выкропаной. А характером – мякиш. За всю жизнь на меня ни разу руку не поднимал. Не мужик, а милочек. И в работе – милочек. Все работы в колхозе прошёл от края до края. Где с простыми руками, а где с топором. По части дерева он у меня выкуделистый. Нет в деревне дома, на который бы он не залез. Теперь на всех крышах у нас, коль не конь, так петух. Даром, что из полена, а смотрятся, как в кино.

Пройденная дорога

Иногда мне кажется, что я уже жил. Хотя и трудно, однако с большим старанием одолел назначенную дорогу. И теперь, оборачиваясь назад, узнаю забытую улицу и то, как с неё летят в мою сторону знакомые голоса.

Это прошлое. Я иду от него и иду. А оно от меня – ни на шаг. Спотыкаюсь я. Всё! Никуда уже не иду.

Где-то рядом сквозь дымку времени вижу мальчика. У него всё моё. И руки, и ноги, и шея, и голова. И такие же точно глаза. Значит, он за меня и досмотрит. Всё, всё досмотрит, что я в этой жизни не досмотрел.

Восторг

Закат был вкрадчиво алый, порывистый, но несмелый, как девушка у кровати перед тем, как ей обнажиться и броситься на подушки, чтоб погрузиться в мечтательный сон.

Сон и ночь. Было в этом что-то счастливо-томное, обещающее покой, а вслед за ним и горнее обновление, когда душа вдруг взлетает, и кого-то в это мгновение охватывает восторг.

Босой

Закиданная землёй свежая могила. Рядом с ней до блеска начищенные ботинки. Не может такого и быть, чтоб покойник ещё до того, как устроиться в подземелье, снял их с ног и теперь там лежит, хоть и в новом костюме, но голоногий?

Смути и удиви

На вологодском кладбище лежит поэт Рубцов. С ним рядом – Чухин. По соседству – Коротяев. Здесь навсегда остановилась тишина. Никто ни с кем и ни о чём. Как знаменитые немые, кому не разрешили прочитать последнее стихотворение.

Покрытая крестами скорбная земля вздохнула, вызывая тех, кто долго спит. И три души, учуяв зов, заговорили небывалыми стихами.

О, невозможное, явись в мой край. Смути и удиви...

